

Б И Б Л И О Т Е К А

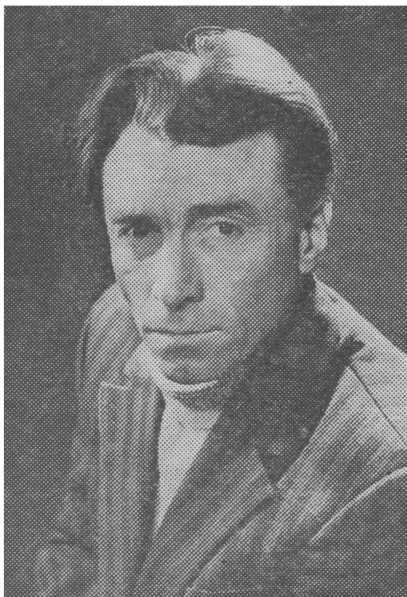
ISSN 0132-2095



**ОГОНЁК**

№ 4

1987



*Виктор КОНЕЦКИЙ*

**ИЗ РАССКАЗОВ  
СТАРОГО ДРУГА**

М О С К В А  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«П Р А В Д А»



Б И Б Л И О Т Е К А « О Г О Н Е К » № 4

Виктор КОНЕЦКИЙ

ИЗ РАССКАЗОВ  
СТАРОГО ДРУГА

Москва. Издательство «ПРАВДА»  
1987

## Виктор КОНЕЦКИЙ

*Виктор Викторович Конецкий родился в 1929 году в Ленинграде. Участник Великой Отечественной войны. В 1952 году окончил Высшее военно-морское училище, плавал штурманом в Арктике. Печатается с 1956 года. Автор многих книг рассказов, повестей, путевых заметок, среди которых «Завтрашние заботы», «Луна днем», «Соленый лед», «Кто смотрит на облака», романа-странствия «За доброй надеждой».*

## НЕБОЛЬШОЙ КОММЕНТАРИЙ К РАССКАЗАМ МОЕГО ДРУГА НИТОЧКИНА

Я решил включить и в эту книгу уже неоднократно публиковавшиеся ранее записи устных рассказов Петра Ивановича.

Почему я так настойчиво это делаю? Потому только, что мне самому отнюдь не хочется конкурировать с Ниточкиным, не хочется сосуществовать с его легкомысленными байками своей псевдофилософичностью. Если хотите, я просто ревную к бесхитростным произведениям морского фольклора, ибо уже не способен к ним сам. Но законы русской совести удивительны.

Понимаете ли, вот, например, сейчас в мире чаще стали разбиваться самолеты. Нормальные люди в таком случае стараются при любой возможности избежать полета и ехать поездом. И когда они едут в поезде, их совесть вполне спокойна, если, конечно, они никуда не опаздывают.

Я же принадлежу к тем ненормальным русским людям, которые обязательно полетят самолетом, хотя самолеты на всех континентах только и делают, что падают. Причем я полечу самолетом не потому, что я опаздываю, и не потому, что некоторые злобные остряки утверждают, будто поездом ездить еще опаснее, нежели самолетом, так как последние якобы падают именно на поезда, пытаюсь использовать рельсы вместо запасного аэродрома; нет, я полечу самолетом только потому, что до тошноты лететь не хочу. Никто, кроме меня, не знает, что я лететь боюсь; никто уязвить мою честь не может; честь моя находится в забронированном месте, но совесть не имеет брони.

Я представляю себе иногда в часы бессонницы тысячи пилотов за штурвалом и без парашютов, но с авоськами помидоров в пилотском предбаннике (если они пронзают воздушное пространство с юга на север) или с копченым муксуном (если они пронзают воздушный океан с севера на юг). Я представляю себе тысячи бортпроводниц, которых на заре аэротрейда называли стюардессами, потому что на заре они все были тоненькими, любезными, загадочными и изящными. Теперь, правда, они потолстели, охрипли и постарели ровно на столько лет, на сколько

и сам пассажирский турбореактивный аэрофлот. Но вот я представляю себе всех этих безымянных голубых героев и голубых героинь на высоте десяти километров. И думаю о том, что они в любой миг могут брякнуться с одной только горизонтальной скоростью двести пятьдесят метров в секунду.

И я покупаю билет к ним.

Так и в настоящем случае. Мне невыгодно соседствовать с Петей, но я не могу выкинуть из песни и его легкомысленного слова, ибо так требует моя русская совесть, законы которой неисповедимы.

В чем суть психической несовместимости, если мы отнесемся к этому вопросу без шуточек? В том, что, пока у тебя нервы не расшатаны длительным рейсом, ты можешь терпеть в других людях то, что вызывает в тебе раздражение. Например, тебе с первой встречи ужасно противно есть вместе с механиком, который чавкает. Но ты ешь и молчишь месяц, второй, третий, а потом, когда нервы твои уже расшатаны длительным рейсом или механическим чавканьем, ты взрываешься и сообщаем механику, что еще в петровские времена было сказано в «Юности честном зерцале», что чавкают только свиньи. Естественно, механик удивляется, что ты вдруг стал к нему придирааться, хотя раньше целых три месяца не придирился. И он искренне считает, что ты просто из пальца все высосал. И сразу говорит, что у тебя уши дергаются, когда ты жуешь, но что он-то молчал об этом все три месяца и т. д., и т. п.

Короче говоря, нарушение психической совместимости наступает тогда, когда ты начинаешь сообщать другим людям правду о том, что ты о них думаешь. Пока ты врал им, то есть скрывал свое раздражение их привычками или поступками, все было хорошо. Но под влиянием длительного рейса твои ослабшие нервы не дают тебе возможности врать.

И вот именно правдивость и есть самое ужасное в человеческих отношениях.

Если ты с полной искренностью заявляешь, что терпеть не можешь чавкающих, то тебе заявляют, что ты нетерпим к людям, не умеешь владеть собой и являешься негодным членом коллектива. Парадокс здесь в том, что самое высокое человеческое качество — правдивость, искренность — при существовании в коллективе есть самое дурное и вредное качество. И чем больше, и шире, и чистосердечнее ты информируешь людей о своем к ним истинном отношении, тем хуже идут дела в коллективе.

Быть может, великая заповедь «понять человека — простить человека» равносильна подпольной мудрости «лги людям»? Но мы же знаем, что ложь противоречит самой сути природы, которая не способна лгать. Если температура поднимается, камень расширяется. Он не способен не расширяться, потому что лишен способности лгать. Человек лгать способен. Тогда получается, что мы, может быть, и вершина природы, но и исчадие ее, мы — нечто, противоречащее ее сути. И если бы я принимал участие в конкурсе на определение того, что такое «человек», в конкур-

се, который продолжается без всякого успеха уже десять тысяч лет, то предложил бы такую формулировку: «Человек — существо, обладающее способностью лгать и не могущее существовать без этой способности, ибо обречено на страх перед одиночеством». Именно страх перед одиночеством вынуждает нас лгать и терпеть чужую ложь и на пароходе, и в космосе, и в семье.

Даже рай и ад человечество во все времена и у всех народов представляло и представляет в виде мощного коллектива праведников или грешников. И в раю, и в аду всегда кишмя кишит народ. Ни одному гению не пришло даже на ум наказать грешника обыкновенным могильным одиночеством. Ведь на миру и раскаленная сковородка, и сатанинские щипцы, и кипящая смола — чепуха. Вот помести мертвого грешника в обыкновенный гроб, закопай, и пусть он там лежит в одиночестве без надежды пообщаться даже с судьями в день Страшного суда. Рядом с таким наказанием коллективное бултыхание в кипящей смоле — купание на Лазурном берегу.

Человек не может представить себе полного одиночества даже на том свете. А за любое общение надо платить. И разменной монетой для этого испокон веков была и есть ложь. Ложь — первородный грех: как сожрали яблоко и не признались — вот отсюда все и пошло.

«Правда настолько драгоценна, что ее должен сопровождать эскорт из лжи». Это сказал великий мастер по эскортам Уинстон Черчилль. Он-то уж знал, что говорил.

Однако не следует забывать о двух коэффициентах, которые, как и все вообще постоянные величины, по своей сути пришней кобыле хвост, потому что выведены и введены в формулу общественной жизни чисто эмпирическим путем, путем подбора и случайного на них натывания, а не логическим путем; но эти коэффициенты все-таки существуют. Я имею в виду любовь и привычку.

Первая является как бы ньютоновской, как бы частным и редким случаем всеобщей эйнштейновской Привычки.

Из народной мудрости известно, что привычка — вторая натура. Лермонтов заметил, что для большинства она при этом и единственная. Это-то и спасает большинство: наш нос способен адаптироваться к запаху чужого пота и перестать замечать этот запах, если мы нюхаем достаточно долго. А меньшинство спасается через любовь. В случае любви мы получаем удовольствие даже от запаха пота своего любимого.

В первом случае мы с чистой совестью лжем близкому иногда даже целые века. И только во втором случае мы вообще не лжем. И так, чтобы существовать без лжи, нам необходимо любить абсолютно всех близких. Но мы точно знаем, что такое невозможно.

Значит, ложь есть полная и абсолютная необходимость? Нет!

Вот здесь-то мы и обнаруживаем самое удивительное! Оказывается, что за тысячелетия лжи как основы основ нашего существования мы так и не смогли полностью адаптироваться к ней! Человек не способен лгать

вечно, черт бы его, человека, побрал! В какой-то момент мы вдруг ляпем: «Эй! Ты! Болван нечесаный! Иди помойся! И перестань чавкать, осел!..» И ведь знаем, что этот «болван нечесаный» нам дорого станет, но не можем мы лишить себя такого удовольствия — хоть на миг перестать лгать и выстрелить из себя, что на самом деле чувствуем.

И вот гигант самообмана и воли, требовательный воспитатель всеобщей лживости, создатель даже новой религии, художественный гений — Лев Николаевич — ничего с собой поделать не может, кричит на весь мир и космос, что жена Софья Андреевна — старая ведьма, и бежит от нее в белый свет, как в копеечку, и умирает на полустанке. Вот ведь какой анекдот. И твердо, неколебимо понимаем, что лживое терпение — основа общения и мира. И в то же время не испытываем больше наслаждения, нежели при врезании ближнему прямо между глаз правды-матки. Оказывается, и мы, и камень одинаково должны расширяться при нагревании и сжиматься при охлаждении; оказывается, ненависть к привычному притворству и лжи так же органична для нас, как и для мертвой природы.

Но, лягнув правду, мы обрекаем себя на смерть в чужой постели на чужом полустанке и на одиночество, в котором существовать не можем. И чтобы прорвать круг одиночества, мы просим у потного чавкающего мерзавца прощения, ибо бог терпел и нам велел.

Больше всего меня интересует с этой точки зрения судьба будущих космонавтов.

Космонавт обязан наблюдать самого себя и с беспощадной правдивостью облекать в слова и докладывать на Землю свое психическое, моральное состояние и мысли, эмоции, сведения о своем стуле и мечтах. Если космонавт будет лгать, он или погибнет раньше срока, или Земля поймает его на преднамеренной лжи и отзовет.

Звезды, мигая нам из Вселенной, говорят, что рано или поздно нам всем всегда придется говорить только правду. Иначе мы погибнем. Но можно ли, хотя бы теоретически, представить всеобщую правдивость? И что получится, если все мы начнем говорить друг другу только то, что на самом деле думаем и чувствуем?

Не знаю, что получится.

Но надо пытаться множить юмор на утопию. Это помогает жить самому. И следует забавлять рассказами мир, даже если он свесит ножки в яму. Этим принесешь миру пускай относительную, но пользу.

Однако для тех, кто не любит улыбаться, хочу сказать, что существеннейшей стороной правильного понимания искусства слова является владение мерой его условности. В литературе периодически возникает стремление обратиться к некоему странному с привычной точки зрения стилю и жанру. Это «странное» играет революционизирующую роль в становлении новой художественной формы. (Горький, например, вспоминал, как после посещения спектакля в лондонском мюзик-холле, где Владимир Ильич много смеялся, у них возник разговор об эксцентриз-



ме. Ленин говорил тогда о приеме показа алогизма обычного, примелькавшегося, штампованного с помощью выворачивания его наизнанку, намеренного искажения.)

Если сейчас я напишу: «Сатирическое и скептическое отношение к штампу есть черта всех великих, и потому я ее в себе восторженно приветствую», то вполне может найтись читатель, который подумает: «Как ему не стыдно! Он причисляет себя к великим!» Это произойдет потому, что читатель не заметил сигнала, который я ему подал, когда перешел на фантазмагорически-ироническую интонацию, то есть начал заниматься эксцентризмом. Где точно этот сигнал находится и как предупреждает о том, что дальнейшее сообщение будет передаваться на особом языке, объяснить невозможно. Но сигнал-знак есть, и он характеризует различные степени условности и произвольности связей между понятиями при обычном их употреблении вне литературы и тем их значением, которое они приобретают внутри художественной системы, то есть книги, рассказа, главы, абзаца. Если сигнал-знак читатель уловил, то он улыбнется над тем, как я зачислил себя в великие. Если уловить сигнал ему не дано, то он вполне может отправить в газету письмо о том, что автор кощунственно панибратствует с величайшими гениями человечества. И такие упреки случались. И потому — для незначительной страховки — я и снабжаю его рассказы настоящим комментарием. Считайте это тем таинственным сигналом, который теперь прошел сквозь каскадный усилитель, и не принимайте ничего буквально — дядя шутит!

## ПЕТР ИВАНОВИЧ НИТОЧКИН К ВОПРОСУ О ПСИХИЧЕСКОЙ НЕСОВМЕСТИМОСТИ

Вечером этого веселого дня у меня была назначена встреча с древним другом-приятелем Петром Ивановичем Ниточкиным.

Петя давно капитанит на танкере в Одессе. Приехал он в Ленинград накануне. Рандеву было назначено в плавучем ресторанчике «Дельфин». И я этой встрече радовался. Петя человек веселый, трепливый. С ним хорошо, когда на душе кошки скребут.

Разговор начался с того, что вот я ухожу в длительный рейс месяцев на девять и в некотором роде с космическими целями, но никого не волнует вопрос о психической совместимости членов нашего экипажа. Хватают в последнюю минуту того, кто под руку подвернулся, и пишут ему направление. А если б «Невель» отправляли не в Индийский океан, а, допустим, на Венеру и на те же девять месяцев, то целая комиссия ученых подбирала бы нас по каким-нибудь генетическим признакам пси-

хической совместимости, чтобы все мы друг друга любили, смотрели бы друг на друга без отвращения и от дружеских чувств даже мечтали о том, чтобы рейс никогда не закончился.

Вспомнили попутно об эксперименте, который широко освещался прессой. Как троих ученых посадили в камеру на год строгой изоляции. И они там сидели под глазом телевизора, а когда вылезли, то всем им дали звания кандидатов и прославили на весь мир. Здесь Ниточкин ворчливо сказал, что если взять, к примеру, моряков, то мы — академики, потому что жизнь проводим в замкнутом металлическом помещении. Годами соседствуешь с каким-нибудь оборотом, который все интересные места из Мопассана наизусть выучил. Ты с вахты придешь, спать хочешь, за бортом девять баллов, из вентилятора на тебя вода сочится, а сосед интересные места наизусть шпарит и картинки из «Плейбоя» под нос сует. Носки его над твоей головой сушатся, и он еще ради интереса спихнет ногой таракана тебе прямо в глаз. И ты все это терпишь, но никто твой портрет в газете не печатает и в космонавты записываться не предлагает, хотя ты проявляешь гигантскую психическую выдержку. И он, Ниточкин, знает только один случай полной, стопроцентной моряцкой несовместимости.

Здесь по выражению лица моего старого друга я понял, что на ближайшие часы забуду о тягостном знакомстве с теплоходом «Невель»; вопрос денежного обеспечения экипажа «Невелия» тоже будет забыт, а предстоит мне выслушать не одну поучительную историю о психической совместимости или несовместимости.

Ссора между доктором и радистом началась с тухлой селедки, а закончилась горчичиками. Доктор ловил на поддев пикшу из иллюминатора, а третий штурман тихонько вытащил леску и посадил на крючок вонючую селедку. Доктор был заслуженный. И отомстил. Ночью встал в иллюминатор третьему штурману пожарную пипку, открыл воду и орет: «Тонем!» Третий в исподнем на палубу вылетел, простудился, но за помощью к доктору обращаться категорически отказался. И горчичики третьему штурману поставил начальник рации. Доктор немедленно написал докладную капитану, что люди без специального медицинского образования не имеют права ставить горчичики членам экипажа советского судна, если на судне есть судовая врач; и если серые в медицинском отношении лица будут ставить горчичики, то на флоте наступит анархия и повысится уровень смертности... Радист оскорбился, уговорил своих дружков — двух кочегаров — потерпеть, уложил их в каюте и обклеил горчичиками. И вот они лежат, обклеенные горчичиками, как забор — афишами, а вокруг радист ходит с банкой технического вазелина. Доктор прибежал, увидел эту ужасную картину и укусил ради-

ста за ухо, чтобы прекратить муки кочегаров. Они, ради понта, такими голосами орала, что винт заклинивало...

Здесь Ниточкин вздохнул, вяло глотнул коньяка, вяло ткнул реди-ску.

— Упаси меня бог считать подобные случаи на флоте чем-то типичным, — продолжал он. — Нет. Наоборот. Как правило, доктора кусаются редко, хотя они от безделья черт знает до чего доходят. Меня лично еще ни один доктор не кусал, а плаваю я уже двадцать лет. Я хочу верить, что барьеров психической несовместимости вообще не существует. Конечно, если, например, неожиданно бросить кошку на очень даже покладистую по характеру собаку, то последняя проявит эту самую психическую несовместимость и может вообще сожрать эту несчастную кошку. Но это не значит, что нельзя приучить собаку и кошку пить молоко из одной чашки.

Неожиданность Петиных ассоциаций всегда изумляла меня.

Когда я жил в маневренном фонде, в квартире, где жило еще восемнадцать семейств, меня как-то навестил Ниточкин. Войдя в кухню и оглядывая даль коридора, он сказал:

— Пожалуй, это одно из немногих мест на планете, где везде ступала нога человека.

И вот теперь его вдруг понесло к кошкам.

— Лично я, — повторил Ниточкин с раздражением, — кошек не люблю. Но даже очень грязного кота или кошку в стиральной машине мыть не буду. Даже по пьянке, хотя такие случаи в мире и бывали.

Моя нелюбовь к котам и кошкам имеет в некотором роде философский характер. Я их не понимаю. А все, что понять не можешь, вызывает раздражение. И еще мне в котях и кошках не нравится их умение выжидать. Опять же эта их коренная черта меня раздражает потому, что сам я выжидать не умею и по этому поводу неоднократно горел голубым огнем. Особенно это касается моего языка, который опережает меня самого по фазе градусов на девяносто, вместо того чтобы отставать градусов на сто восемьдесят.

Так вот, понять кошачье племя дано, как я убежден, только женщинам. Женщины и кошки общий язык находят, а для нас, мужчин, это почти невозможное дело. В чем тут корень, я не знаю, а может быть, даже боюсь узнать.

Слушай внимательно о нескольких моих встречах с необыкновенными котами. Нельзя сказать, что эти коты совершили что-либо полезное для человечества — такое, о чем иногда приходится читать. Например, помню из газет, что один югославский кот бросился на огромную, двухметровую гадюку и загрыз ее, спасая хозяйку — девочку, которая учила уроки в винограднике, а гадюка подползала к ней по лозе сверху,

бесшумно. И вот этот югославский кот загрыз гадюку. Причем сбежавшие на шум жители югославской деревни (а там все жители городов и деревень — бывшие партизаны), так вот, все бывшие партизаны не осмелились броситься на помощь коту, который сражался с гадюкой один на один, — такая эта гадюка была ужасная. Кот, победив гадюку, скромно отошел в сторону и стал отдыхать.

Или еще мне приходилось читать, как немецкие кошки предупреждали людей о приближении таинственных несчастий и привидений. У немецких кошек шерсть обычно становится дыбом, когда они видят своим внутренним взором привидение. Интересно, правда, у какого немца шерсть не встанет дыбом, если он увидит привидение? Вот только у совершенно лысого немца она не встанет.

Еще много приходилось читать и слышать, что британские коты предчувствуют смерть хозяйки. Но даже если это и так, то ничего хорошего здесь, как мне кажется, нет: о таких штуках, как смерть, лучше узнавать от доктора.

Русский кот-дворняга по кличке Жмурик ничего полезного для человечества не совершил, но врезался в мою память. Он прыгнул выше корабельной мачты, а был флегматичным котом.

Прибыл он к нам в бочке вместе с коробками фильма «Укротительница тигров» по волнам океана, как царь Додон или царь Салтан — всегда их путаю. В бочке котенок невозмутимо спал и, как говорится, ухом не вел — ни когда спускали бочку в волны с другого траулера, ни когда швыряло ее по зыбям, ни когда поднимали мы ее на борт.

За такую невозмутимость его и назвали Жмуриком, что на «музыкальном» языке означает «покойник».

Был он рыж. Был осторожен, как профессиональный шпион-двойник: получив один-единственный раз по морде радужным хвостом морского окуня, никогда больше к живой рыбе не приближался. Когда начинали выть лебедки, выбирая трал, Жмурик с палубы тихо исчезал и возникал только тогда, когда последняя, самая живучая рыба в ватервейсе отдавала концы.

Прожил он у нас на траулере около года нормальной жизнью судового кота — лентяя и флегмы. Но потом стремительно начал лысеть, а ночами то жалобно, то грозно мяукать.

Грубоватый человек боцман считал, что единственный способ заставить Жмурика не орать по ночам — это укоротить ему хвост по самые уши. Тем более что у лысого Жмурика видок был, действительно, страшноватый. Однако буфетчица Мария Ефимовна, которая была главной хозяйкой и заступницей Жмурика, сказала, что все дело в его тоске по кошке. И командованием траулера было принято решение найти Жмурику подружку.

Где-то у Ньюфаундленда встретились мы с одесским траулером. Двое суток они мучили нас вопросами о родословной Жмурика, выставляли невыполнимые условия калыма и довели Марию Ефимовну до сер-

дечного припадка. Наконец стоворились, что свидание состоится на борту у одесситов, время — ровно один час, калым — пачка стирального порошка «ОМО». Родословная Барракуды — так звали их красавицу — нас не интересовала, так как Жмурик должен был, как и мавр, сделать свое дело и ухотить.

Я в роли командира вельбота, Мария Ефимовна и пять человек эскорта отправились на траулер одесситов. Жмурик сидел в картонной коробке от сигарет «Шипка». Вернее, он там спал. Пульс 80, никаких сновидений, никаких подергиваний ушами, моральная чистота и нравственная готовность к подвигу. Но на всякий случай я взял с собой пятерых матросов, чтобы оградить Жмурика от возможных хулиганских выходов одесситов — с ними никогда не знаешь, чем закончится: хорошей дракой или хорошей выпивкой.

Мы немного опаздывали, так как перед отправкой было много лишних, но неизбежных на флоте формальностей. Например, часть наших считала неудобным отправлять Жмурика на свидание в полуголом, облысевшем виде. И на kota была намотана тельняшка, на левую лапу прикрепили детские часики, а на шею повязали черный форменный галстук. Я был категорически против украшения. Не следует обманывать слабый пол, даже если его представителя зовут Барракудой. Со мной согласилось большинство, и Жмурик поехал к Барракуде старомодно обыкновенный.

Накануне Жмурику засовывали в пасть вяленый инжир и шоколад — впрочем, перечислить все моряцкие глупости и пошлости я не берусь. Приведу только слова наказа, которые проорал капитан с мостика: «Жмурик, так тебя и так! Покажи этой одесситке, где раки зимуют!»

И вот после неизбежных формальностей мы наконец отвалили.

Рядом со мной сидела помолодевшая и посвежевшая от волнения, мартовских брызг и сознания ответственности Мария Ефимовна. В авоське она везла коллеге на одесский траулер пакет «ОМО» лондонского производства. А на коленях у нее была картонка со Жмуриком. Я уже говорил, что кот спокойно спал. Он как-то даже и не насторожился от всей этой суеты, которая напоминала суету воинов перед похищением сабинянок. Здесь коту помогала врожденная флегматичность, к которой бывают, как мне кажется, склонны и рыжие мужчины: рыжие и выжидать умеют, и прыгать внезапно.

К сожалению, меня не насторожила обстановка на борту одессита. Просто я другого и не ожидал. Вся носовая палуба кишмя кишела одесситами. Между трюмами было оставлено четырехугольное пространство, обтянутое брезентовым обвесом на высоте человеческого роста. Оно напоминало ринг. Барракуда была привязана на веревке в дальнем от нас конце ринга. Она оказалась полосатой, дымчатой, обыкновенного квартирно-коммунального вида кошкой. Не думаю, что ее невинность, даже если о невинности могла идти речь, стоила такой дефицитной вещи, как пачка «ОМО» лондонского производства.

Как всегда в наши времена, при любом зрелище вокруг толкалось человек двадцать, что было явно нескромно, — но что можно ожидать от одесских рыбаков в такой ситуации? Чтобы они все закрылись в каюте и читали «Хижину дяди Тома»? Ожидать этого от одесситов было бы по меньшей мере наивным. Поэтому я спокойно занял место, отведенное для нашей делегации, и сказал, что времени у нас в обрез.

И вдруг Жмурик показал, где зимуют раки.

Когда картонку поставили внутрь ринга на стальную палубу и когда кот сделал первый шаг из коробки и увидел Барракуду, то не стал выжидать и сразу заорал.

У одного известного ленинградского романиста я как-то читал про козу, которая «кричала нечеловеческим голосом». Так вот, наш Жмурик тоже заорал нечеловеческим голосом, когда первый раз в жизни увидел одесситку с бельмом на глазу.

От этого неожиданного и нечеловеческого вопля все мы — старые моряки — вздрогнули, а один здоровенный одессит уронил фотоаппарат, и тот полыхнул жуткой магниевой вспышкой.

Долго орать Жмурик не стал и, не закончив вопль, подпрыгнул над палубой метра на два строго вверх. У меня даже возникло ощущение, что кот вдруг решил стать естественным спутником Земли, но с первого раза у него это не получилось. И, рухнув вниз, на стальную палубу, он сразу запустил себя вторично, уже на орбиту метра в четыре. Таким образом, неудача первого запуска его как бы совсем и не обескуражила.

Надо было видеть морду Барракуды, ее восхищенную морду, когда она следила за этими самозапусками нашего лысого, флегматичного Жмурика!

Я знаю, что мы не используем и десяти процентов физических, нравственных и умственных способностей, когда существуем в обычных условиях. И что совсем не обязательно быть Брумелем, чтобы прыгать выше кенгуру. Достаточно попасть в такие обстоятельства, чтобы вам ничего не оставалось делать, как прыгнуть выше самого себя, — и вы прыгнете, потому что в вашем организме заложены резервы. И Жмурик это продемонстрировал с полной наглядностью. Просто чудо, что он не переломал себе всех костей, когда после третьего прыжка рухнул на палубу минимум с десяти метров.

Я никогда раньше не верил, что кошки спокойно падают из окон, потому что умеют особым образом переворачиваться и группироваться в полете. Теперь я швырну любого кота с Исаакиевского собора. И он останется жив, если при этом на него будет смотреть потаскуха-одесситка Барракуда.

Труднее всего передать то, что творилось вокруг ринга. Моряки валились штабелями, дрыгая ногами в воздухе, колота друг друга и самих себя кулаками, и, подобно Жмурику, орали нечеловеческими голосами. Такого патологического хохота, таких визгов, таких восхищенных ругательств я еще нигде и никогда не слышал.

Когда Жмурик без всякого отдыха ринулся за облака в четвертый раз, стало ясно, что пора все это свидание прекращать, что траулер перевернется, а матросня лопнет по всем швам. Капитан-одессит говорить тоже не мог, но знаками показывал мне, чтобы мы брали kota и отваливали, что он прикажет сейчас дать воду и пожарные рожки на палубу, чтобы привести толпу в сознание, что необходимо помнить о технике безопасности.

Ладно. Каким-то чудом мне удалось засунуть под падающего уже из открытого космоса Жмурика картонную коробку из-под «Шипки». Потом мы все навалились на крышку коробки и попросили у одесситов кусок троса, потому что Жмурик и в коробке пытался запускать себя на орбиты в разные стороны, продолжал мяукать, и выть, и крыть нас таким кошачьим матом, что сам кошачий бес вздрагивал.

Боцман-одессит дал нам кусок веревки, взял за эту веревку расписку — так уж устроены эти боцманы, — и мы поехали домой какие-то оглушенные и даже как бы раздавленные недавним зрелищем.

Жмурик притих в коробке: очевидно, он пытался восстановить в своей кошачьей памяти мимолетное видение Барракуды, которая растаяла как дым, как утренний туман, без всякой реальной для Жмурика пользы.

Через неделю Жмурик оброс волосами, как павиан. И старая рыжая, и новая черная шерсть били из него фонтаном. И весь его характер тоже разительно изменился. Услышав грохот траловой лебедки, он мчался на корму, садился у слипа и хлестал себя хвостом по бокам — точь-в-точь мусульманин-шиит. И когда трал показывался на палубе, Жмурик бросался в самую гущу трепыхающейся рыбы, и ему было все равно, кто там трепыхается — здоровенный скат или акула.

И если тебе, Витус, когда-нибудь попадался в рыбных консервах черно-рыжий кошачий хвост, то это был хвост нашего Жмурика, отхваченный ему под самый корешок рыбой-иглой возле тропика Козерога.

Вскорости после потери хвоста он лишился левого уха, и пришлось закрывать его в специальной будке, чтобы он не портил рыбу и не погиб сам в акульей пасти.

И тут мы получили странную радиограмму от одесситов: «Сообщите состояние Жмурика зпт степень облысения тчк Судовой врач Голубенко».

Мы ответили: «Облысение прекратилось зпт кот оброс зпт как судовое днище водорослями тропическом рейсе тчк Привет Барракуде». И сразу пришла следующая радиограмма: «Факт обрастания Жмурика умоляю занести судовой журнал тчк Работаю кандидатской двтчк лечение облысения электрошоком тчк Подавал на Жмурика тридцать три герца сорок вольт при четырех амперах».

Итак, мы узнали, почему Жмурик чуть было не превратился в естественного спутника Земли. Но сам-то кот не мог об этом узнать. Он, очевидно, считал, что тридцать три герца исходили не от листа железа

на палубе, а от Барракуды. И он свирепо возненавидел всех кошек. Однако это уже другая история. Она не имеет прямого отношения к мировой научно-технической революции.

— И ты, Витус, тоже, как это ни прискорбно, не имеешь к ней отношения. Не ощущается в тебе находчивости, ты уже стар и туповат, хотя, может быть, неплохо образован для среднего судоводителя. Не бывать нам уже технократами, — мрачно закончил Ниточкин. — А ты откуда сейчас прибыл?

— Петя, ты сегодня не в своей тарелке. Я уже говорил. Прилетел из Новороссийска. Сорвался с фумигации. Первый раз в жизни чемодан укладывал с противогазом на морде. И все равно чуть дуба не врезал. И куртку забыл нейлоновую, и справочник капитанский, и кактус.

— С кактусом в самолет не пускают. Я пробовал, — сказал Ниточкин.

— Сдуло им почву в море. Иллюминаторы после боры отмыть невозможно.

— И я в этом Новороссийске попал в плохой сезон. И вот случаем продали нам сердобольные женщины трех кур. Вернее, двух кур и петуха. Жили мы в гостинице для моряков — тоже на фумигации, — кухонного инвентаря нет, жевать хочется ужасно. Двух кур мы лишили жизни, одну разодрали на куски и засунули в электрический чайник. Другую подготовили к этому мероприятию, а петуха посадили в шкаф живым, чтоб он не прокис раньше времени.

Пока первая курица кипела в чайнике, мы успели надраться в предвкушении курятины. Потом мы ее съели, засунули в чайник следуюшую и все заснули. Пока мы спали, вода из чайника выкипела и по коридорам понесло запахом жареной курицы, у всей остальной морской братии слюнки потекли... Но дело не в этом, а в том, что по гостинице уже давно был объявлен розыск двух девиц — чьих-то «невест». Ребята из морской дружки перепрыгивали этих девиц по номерам, подвалам и чердакам уже неделю, и администрация с ног сбилась. Даже немецких овчарок приводили. Но ребята не поскупились на трубочный табак и засыпали им все щели. Овчарки чуть было своих собственных руководителей не перекусили. И вот наша судовая администрация и гостиничная администрация делают очередной неожиданный налет.

Входят они в наш номер. Видят, из чайника дым идет, в шкафу что-то трепыхается, мы все спим, а над нами пух летает и перья. Ну, ясно, что в шкафу девицы спрятались. Собрали свидетелей, понятых — все как положено... Знаешь состояние человека, который совсем уже собрался чихнуть? Уже и глаза закрыл, и нос сморщил, и весь уже находился в предвкушении блаженного, желанного чиха — ан нет, не чихнулось! Вот такое, вероятно, пережили члены поисковой комиссии, когда из шкафа петух вместо девиц выскочил и закукарекал.

Мы глаза продрали, но ничего понять не можем: вокруг много начальства, из чайника черный дым валит, и среди всего этого беспорядка



пелух летает и кукарекает... Смешно, но именно через этот случай я узнал, что такое полная, стопроцентная психическая несовместимость...

У меня училище наконец закончено было, диплом в кармане, а меня за этого пелуха еще на один рейс — плотником, да еще артельным в придачу выбрали. И загремел в тропики на казаке «Степане Разине» — питьевую воду мерить и муку развешивать.

Ладно. Гребем. Жара страшная. Взяли на Занзибаре мясо. Что это было за мясо — я и сейчас не знаю, может быть зебры. Или такое предположение тоже было — бегемота. И вот это старшего помощника, естественно, тревожило. И он старался подобрать к незнакомому мясу подходящую температуру в холодильнике, то есть в холодной артелке. Каждый день в восемь тридцать спускался ко мне в артелку, нюхал бегемотину и смотрел температуру. И так меня к своим посещениям приучил — а пунктуальности он был беспремерной, — что я по нему часы проверял.

Звали чифа Эдуард Львович, фамилия — Саг-Сагаило.

Никогда в жизни я не сажал людей в холодильник специально. Грешно сажать человека в холодильник и выключать там свет, даже если человек тебе друг-приятель. А если ты с ним вообще мало знаком и он еще твой начальник, то запирать человека на два часа в холодильнике просто глупо.

Еще раз подчеркиваю, что произошло все это совершенно случайно, тем более что ни на один продукт в нашем холодильнике Саг-Сагаило не походил. Он был выше среднего роста, белокурый, жилистый, молчаливый, а хладнокровие у него было ледяное. Мне кажется, Эдуард Львович происходил из литовских князей, потому что он каждый день шею мыл и рубашку менял. Вот в одной свежей рубашке я его и закрыл. И он там в темноте два часа опускал и поднимал двадцатикилограммовую бочку с комбижиром, чтобы не замерзнуть. И это помогло ему отделаться легким воспалением легких, а не чахоткой, например.

Конфуз произошел следующим образом. У Сагаилы в каюте лопнула фановая труба, он выяснял на эту тему отношения со старшим механиком и опоздал на обнюхивание бегемотины минут на пять.

Я в артелке порядок навел, подождал чифа — его нет и нет. Я еще раз стеллажи обошел — а они у нас в центре были артелки, — потом дверью хлопнул и свет выключил. Получилось же, как в цирке у клоунов: следом за мной вокруг стеллажей Эдуард Львович шел. Я за угол — и он за угол, я за угол — и он за угол. И мы друг друга не видели. И не слышали, потому что в холодной артелке специально для бегемотины Эдуард Львович еще вентиляторы установил, и они шумели, ясное дело.

— Ниточкин, — спрашивает Эдуард Львович, когда через два часа я выпустил его в тропическую жару и он стряхивал с рубашки и галстука иней. — Вы читали Шиллера?

Я думал, он мне сейчас голову мясным топором отхватит, а он только этот вопрос задал.

— Нет, — говорю, — трудное военное детство — не успел.

— У него есть одна неплохая мысль, — говорит Саг-Сагайло хриплым, морозным, новогодним голосом. — Шиллер считал, что против человеческой глупости бессильны даже боги. Это из «Валленштейна». И это касается только меня, товарищ Ниточкин.

— Вы пробовали кричать, когда я свет погасил? — спросил я.

— Мы не в лесу, — прохрипел Эдуард Львович.

Несколько дней он болел, следить за бегемотиной стало некому — я в этом деле еще плохо соображал. Короче говоря, мясо протухло. Команда, как положено, хай подняла, что кормят плохо, обсчитывают и так далее. И все это на старпома, конечно, валится.

Тут как раз акулу поймали. Ну, обычно наши моряки акуле в плавнике дыру сделают и бочку привинтовят или пару акул хвостами свяжут и спорят, какая у какой первая хвост вырвет с корнем. А здесь я вспомнил, что в столице, в ресторане «Пекин», пробовал жевать второе из акульих плавников — самое дорогое было блюдо в меню. Уговорил кока, и он акулу зажарил, и получилось удачно — сожрала ее вместе с плавниками. Два дня жрали. И Эдуард Львович со мной даже пошучивать начал.

А четвертый штурман — сопливый мальчишка — вычитал в лоции, что акулу мы поймали возле острова, на котором колония прокаженных. И трупы прокаженных выкидывают на съедение местным акулам. Получалось, что бациллы проказы прямым путем попали в наши желудки. Кое-кого тошнить стало, кое у кого температура поднялась самым серьезным образом, кое-кто сачкует и на вахту не выходит под этим соусом.

Капитан запрашивает пароходство, пароходство — Москву, Москва — главных проказных специалистов мира. Скандал на всю Африку и Евразию. И Саг-Сагайле строгача вlepили за эту проклятую акулу.

Вечером прихожу к нему в каюту, чтобы объяснить, что акул любых можно есть, что у них невосприимчивость к микробам, они раком не болеют. Я все это сам читал под заголовком: «На помощь, акула!» Чтобы акулы помогли нам побороть рак. И что надо обо всем этом сообщить в пароходство и снять несправедливый строгач.

Эдуард Львович все спокойно выслушал и говорит вежливо:

— Ничего, товарищ Ниточкин. Не беспокойтесь за меня, не расстраивайтесь. Переживем и выговор — первый он, что ли?

Но в глаза мне смотреть не может, потому что не испытывает желания мои глаза видеть.

Везли мы в том рейсе куда-то ящики со спортивным инвентарем, в том числе со штангами. Качнуло крепко, несколько ящиков побилось, пришлось нам ловить штанги и крепить в трюмах. А я когда-то тяжелой атлетикой занимался, дай, думаю, организую секцию тяжелой атлетики, а перед приходом в порт заколотим эти ящики и все дело. Капитан разрешил. Записалось в мою секцию пять человек: два моториста, электрик, камбузник. И... Саг-Сагайло записался.

Пришел ко мне в каюту и говорит:

— Главное в нашей морской жизни — не таить чего-нибудь в себе. Я, должен признаться, испытываю к вам некоторое особенное чувство. Это меня гнетет. Если мы вместе позанимаемся спортом, все разрядится.

Ну, выбрали мы хорошую погоду, вывел я атлетов на палубу, посадил всех в ряд на корточки и каждому положил на шею по шестидесятикилограммовой штанге — для начала. Объяснил, что так производится на первом занятии проверка потенциальных возможностей каждого. И команду:

— Встать!

Ну, мотористы кое-как встали. Камбузник просто упал. Электрик скинул штангу и покрыл меня матом. А Саг-Сагайло продолжает сидеть, хотя я вижу, что сидеть со штангой на шее ему уже надоело и он хотел бы встать, но это у него не получается, и глаза у него начинают вылезать на лоб.

— Мотористы! — команду ребятам. — Снимай штангу с чифа! Живо!

Он скрипнул зубами и говорит:

— Не подходить!

А дисциплину, надо сказать, этот вежливый старпом держал у нас правильную. Ослушаться его было непросто.

Он сидит. Мы стоим вокруг.

Прошло минут десять. Я послал камбузника за капитаном. Капитан пришел и говорит:

— Эдуард Львович, прошу вас, бросьте эти штучки, вылезайте из-под железа: обедать пора.

Саг-Сагайло отвечает:

— Благодарю вас, я еще не хочу обедать. Я хочу встать. Сам.

Тут помполит явился, набросился, ясное дело, на меня, что я чужие штанги вытащил.

Капитан, не будь дурак, бегом в рубку и играет водяную тревогу. Он думал, чиф штангу скинет и побежит на мостик. А тот, как строевой конь, услышавший сигнал горниста, встрепенулся весь — и встал! Со штангой встал! Потом она рухнула с него на кап машинного отделения, и получилась здоровенная вмятина. За эту вмятину механик пилил старпома до самого конца рейса...

Ты не хуже меня знаешь, что старпом может матроса в порошок стереть, жизнь ему испортить. Эдуарда Львовича при взгляде на меня тошнило, как матросов от прокаженной акулы, а он так ни разу голоса на меня и не повысил. Правда, когда уходил я с судна, он мне прямо сказал:

— Надеюсь, Петр Иванович, судьба нас больше никогда не сведет. Уж вы извините меня за эти слова, но так для нас было бы лучше. Всего вам доброго.

...Вот желают нам, морякам, люди счастливого плавания, подумал уже я, а не Петя Ниточкин. Из этих «счастливых плаваний» самый захудалый моряк может трехкомнатную квартиру соорудить — такое количество пожеланий за жизнь приходится услышать. Ежели каждое «счастливого плавания» представить в виде кирпича, то, пожалуй, и дачу можно построить. Но когда добрые люди желают нам счастья в рейсе, они подразумевают под этим счастьем отсутствие штормов, туманов и айсбергов на курсе и знаменитые три фута чистой воды под килем. А все шторма и айсберги — чепуха и ерунда рядом с психическими бабрыерами, которые на каждом новом судне снова, и снова, и снова преодолеваешь, как скаковая лошадь на ипподроме...

## ПЕТР ИВАНОВИЧ НИТОЧКИН К ВОПРОСУ О КВАЗИДУРАКАХ

Четверть века назад, когда мы с Пескаревым вместе плавали на звездобойной шхуне «Тюлень» по Беломорью, Елпидифор еще был Электроном. В каюте третьего помощника капитана Электрона Пескарева на столе были сооружены из спичек миниатюрные виселицы, на которых он вешал в петли, сплетенные из собственных волос, тараканов-прусаков.

Любопытствующим поморам Электрон объяснял, что это как бы эсэсовцы, а вешает он их потому, что не до конца свел с ними счеты, когда партизанил в дебрях Псковской области. В какие бы то ни было его военные подвиги я не очень верил, ибо мы были одногодками и войну встречали отроками. Но на поморов, которые оккупации вообще не видели и не нюхали, партизанское прошлое Электрона производило сильное впечатление. И потому у нас не переводилась свежая рыбка.

Виселицы Электрона (шибеницы — на псковском наречии) были сделаны с дотошностью в деталях, заставляющих живо вспоминать лесковского Левшу.

Внешне Пескарев в унисон с фамилией смахивал на рыбу. Лоб его скашивался назад, а нижняя губа выпячивалась. Но так как черты лица были крупные, то походил он уже не на мелкую рыбешку-пескаря, а на морского окуня или даже тунца.

В отличие от большинства истинных русаков, которые после деда в своем прошлом знают сразу Адама, наш Пескарев прослеживал родословную аж с пугачевских времен. Дальний предок его был приказчиком у зверя-помещика на Арзамасщине и чуть было не угодил на шибеницу бунтовщиков вместе с хозяином, но уцелел и перебрался подальше от ужасных воспоминаний — в псковскую вотчину хозяина. Эти свиде-

ния мы выудили из Электрона, когда попали в туман на подходе к Кольскому заливу и поставили зверобойную шхуну «Тюлень» на якорь посередине Могильного рейда, и наш третий помощник в первый и последний раз в жизни попробовал старой браги, и язык у него вдруг раскрылся, как турбина на атомной электростанции.

Вообще-то пил он мало, язычок держал на коротком поводке и на приглашение выпить обычно отвечал отказом, замечая, что, «если хочешь в жизни проиграть, можешь рюмку принимать». Из чего видно, что уже тогда Пескарев настраивал себя на выигрыш в жизни. Но под влиянием самодельной браги Электрон пустился в такие откровения, что потом у меня болели мышцы брюшного пресса — так мы хохотали, включая Старца, шестидесятипятилетнего капитана шхуны, бывшего соловецкого монаха.

Косевший Электрон бесстрашно насакивал на капитана, укоряя того религиозным прошлым. Как оказалось, отец самого Электрона Фаддей Пескарев был первым активистом общества безбожников на Псковщине и знаменитым верхолазом-спецом по сбрасыванию колоколов с колоколен. В 1929 году Фаддей сорвался с очередной колокольной вместе с очередным колоколом. Спас отчаянно воинствующего безбожника большой куст бесхозной бузины. Жена Фаддея в этот момент была беременна на седьмом месяце и от страха и переживаний за мужа досрочно родила двойню.

Чудом спасшийся счастливый отец Фаддей Пескарев недоношенную дочь назвал Бузиной, а недоношенного наследника — Электроном.

Все это Электрон выдавал нам сквозь слезы. Атомное имя отравляло ему существование и в поварской школе, куда он сперва попал из партизан, и в средней мореходке.

Смешливый, как большинство монахов, капитан сквозь стон и хрюканье сообщил всем нам, что однажды ему удалось способствовать изменению фамилии четвертого механика Пузикова или Пупикова на Сикорского, и велел принести судовой журнал.

Я принес черновой. Но капитан велел принести чистовой. И властью, не данной ему Уставом морского флота, совершил обряд перекрещения Электрона в Елпидифора, указав в вахтенном журнале широту, долготу, судовое время и отсчет лага. Тут я ему сказал, что мы стоим на якоре и лаг не работает. Тогда Старец записал в журнал длину отданной якорной цепи в смывках и отметил еще, что грунт в той точке, где третий штурман Пескарев сменил имя, — мелкая ракушка и голубая глина.

Назавтра, когда мы с чугунами колоколами вместо голов ошвартовались в кольском поселке Дровяное, Пескарев тихой сапой сделал выписку из журнала, прихлопнул судовой печатью и на первом же рейсовом катере отправился в мурманский загс, прихватив мешочек с двумя килограммами чеснока — материнский гостинец из деревни.

Что в загсе сработало: дремучее «написано пером, не вырубись то-

пором» или дефицитный на Севере в начале пятидесятых годов чesноk — неизвестно, но в Дровяное Электрон вернулся Елпидифором.

Старец по этому поводу заметил, что государству рабочих и крестьян содержание таких типов, как Пескарев, слава богу, обходится недорого: их можно прокормить хреном или редькой даже без приправы из постного масла — о чем говорит вековой опыт существования юродивых на Руси, но лично он, капитан зверобойной шхуны «Тюлень», предпочитает встретить один на один гималайскую медведицу, только что лишившуюся детей, нежели плавать дальше с Елпидифором, пока тот не пройдет специализированного обследования в психодиспансере.

Следующий раз судьба свела меня с Елпидифором на сухогрузе «Клязьма». Мы плыли по Балтике, а иногда выбирались и до Лондона. Я был старшим помощником капитана и заканчивал заочно Высшую мореходку. Елпидифор был третьим помощником: корректировал карты и насчитывал зарплату для экипажа — и то и другое трудновыносимые занятия для зрелого дяди. Но Елпидифор нес бремя нарочью не получившейся карьеры безропотно, чем умилял меня, вызывал с моей стороны стремление затушевать нашу служебно-производственную разницу некоторым попустительством его слабостям, хотя особых слабостей, кроме обычной непроходимой глупости, за Пескаревым и не числилось. Ношение третьим штурманом, например, калош — он носил их на судне и на берегу — можно считать не слабостью, а странностью.

Калоши Елпидифора Фаддеич завел в начале шестидесятых годов. Яростные насмешки и поругания со стороны молодых, англазированных штурманов он сносил без всякого раздражения и напряжения, наоборот, тихо-затаенно гордясь тем наглым вызовом, который бросали его калоши в лицо атомно-техническому веку.

Другой странностью Елпидифора была любовь к писателю Мельникову-Печерскому. На мой прямой вопрос о том, чем его привлекает скучный Мельников, Пескарев ответил, что уважает Печерского за «евонную обстоятельность и спокой». «Евонную» и «спокой» Елпидифор употреблял намеренно, умея говорить правильно и чисто. Этим он меня иногда особенно умилял. В «евонной» и в калошах проявлялась самобытность природы Елпидифора. И если меня она умиляла, то у матросов, например, вызывала бурное одобрение. Ведь ослиное упорство в какой-нибудь мелочи всегда пользовалось и пользуется в нашем непослeдовательном и взбалмошном народе устойчивым спросом, особенно если оно еще смешивается с какой-нибудь рациональностью, то есть явной, зримой выгодой — сухие ноги, сохранность ботинок, защита от электротока.

Помню, как однажды я взял у Елпидифора «ФЭД», чтобы сфотографироваться у памятника Нельсону на Трафальгарской площади, и импортный пленкопротяжный механизм. Елпидифор полонку воспринял болезненно, причитал минут пять, что вот ведь какая незадача: «ФЭД» у

него уже двадцать лет скоро и всегда служил верой-правдой, но стоило отдать в чужие руки разок и...

Закончил же причитания совершенно неожиданно и не без мягко-укоряющего юмора:

— Слава богу, я вам, Петр Иванович, попользовать только свой аппарат дал, а не калоши!

Вот как высоко он их ставил!

Надо сказать, что меня иногда смущало наличие в Елпидифоре подпольно-подспудного юмора. Это даже настораживало, ибо вообще-то юмор есть забава разума, а выходило, что и не обязательно разума.

Капитан «Клязьмы», как это все чаще почему-то случается, умер прямо на мостике, в рейсе. Я принял судно, штурмана передвинулись по служебной лестнице, и Елпидифор Пескарев волею всевышнего стал вторым, то есть грузовым помощником. Короткая деятельность его на этом сложном и ответственном посту была ужасающей. Пакеты листов стали он раскрепил в трюмах картонными коробками с французскими елочными игрушками. Произошло это в Бордо, когда я был занят грустными обязанностями по депортации в Союз останков капитана и контролировать ход погрузки не мог. В результате Елпидифора посадили писарем в отдел кадров. Между прочим, он составил тогда детальную инструкцию-памятку по похоронам моряков и разработал прејскурант на похоронные принадлежности в соответствии со служебным положением умершего морехода. Этим его документом пользуются и по сей день.

В погаре Елпидифора в какой-то степени мне приходилось винить себя, и я сильно переживал его сидение на берегу. Дело в том, что оклад третьего штурмана на современном флоте сто двадцать рублей, плюс двадцать четыре рубля, если он плавает, и плюс восемьдесят три инвалютных копейки в сутки, если он плавает за границей. Для многодетного человека (а Елпидифор, как и все служебные тихоходы, компенсировал служебную тихоходность дрозифиловской плодовитостью) сто двадцать береговых рублей — не фонтан.

Мои душевные муки из-за материального положения Елпидифора закончились, как это чаще всего на флоте и бывает, сочинением на судоводителя Пескарева, 1929 года рождения, русского, образования среднее и т. д., превосходной характеристики, с которой Елпидифора спокойно можно было назначить генсеком Организации Объединенных Наций. И он опять пошел плавать третьим помощником.

С тех пор много воды испарилось в мировом океане. И я давно уже работаю капитаном-наставником, то есть отвечаю за тридцать рядовых капитанов дальнего плавания.

На «Новосибирск» я подсел в Бремене зимой, а из Ленинграда улетел ранней весной на Бермуды, где подопечное судно попало в аварию. С Бермуд отправился пассажиром в Гавану, где принял «Азовск», подменя заболевшего капитана. На «Азовске» пошли в Японию, из Японии на Австралию, где застряли на три месяца, под забастовкой докеров. С Австралии пришли в Гамбург под трубы, и мне уже мерещился солнечный блик на куполе Исаакиевского собора, когда оказалось необходимым сопроводить молодого капитана в рейсе на США из Бремена.

Восемь месяцев без родных осин и все с разными новыми людьми — тут и Елпидифору обрадуешься.

Он был вахтенным помощником, когда я прибыл к борту «Новосибирска», и встретил у трапа, подхватил чемодан и сопроводил в гостевую каюту — ангар с двумя кроватями и «Аленушкой» Васнецова почти в натуральную величину между ними.

Не очень ловко себя чувствуешь, когда одногодок и давний соплатватель — вечный третий штурман — тащит твой чемодан по трапам, а ты пытаешься чемодан отобрать и все спрашиваешь: «Ну, как жизнь, Фаддеич?» А он отвечает, что все нормально, Петр Иванович. И тогда ты ему говоришь, что он отлично выглядит (и это правда), а он тебе говорит, что ты тоже отлично сохранился, — что, увы, ложь, ибо бремя ответственности повесило тебе под каждым глазом по кенгуриной сумке и сердечко твое барабанит в ребра заячьими лапками, хотя ты по трем трапам всего поднялся.

— Какой садист украсил пароход сиротинушкой? — спросил я у Елпидифора про «Аленушку». Спрашивать его про служебные успехи язык не поднялся.

— Все смеетесь, Петр Иванович, над жизненной почвой народных мотивов, — заметил Елпидифор и попросил разрешения быть свободным. Поговорить на темы народа и народности Елпидифору хотелось — он это всегда любил, но тут счел необходимым сохранить субординацию.

— Мы не на линкоре, а я не адмирал, Елпидифор Фаддеич. Садись, покурим.

— Так я не курю, — сказал Елпидифор. — А вы все одно высоко поднялись. Видите, уже и забыли, что Пескарев никогда отравой не баловался. Как автомобильчик ваш поживает?

— А черт его знает, я восемь месяцев дома не был, — сказал я. Почему-то мне не захотелось ему говорить, что свой «Москвич» я давным-давно продал.

— Век вам благодарен буду, — сказал Елпидифор и отправился доложить молодому капитану об устройстве наставника потому, что я ему

благодарить меня весь век Елпидифор собрался потому, что я ему помог приобрести по баснословно дешевой цене списанную нашим финским торгпредством дизельную «Волгу». Был такой короткий пе-



риод лет десять назад, когда морякам разрешили покупать за рубежом подержанные машины. И с тех пор Елпидифор стал автолюбителем.

Я распаковал чемодан, ощущая на себе мертво-стеклянный взгляд Аленушки и удивляясь Васнецову, который умудрился нарисовать девушку так, что в ней нет ни одного золотника соблазнительной женственности, то есть презренного секса. И впервые обнаружил на знаменитой картине чуть повыше и левее Аленушки веночек из стрижей или ласточек. И тут я взял да и кощунственно засунул под раму здорового тигра — обложку рекламного буклета зоопарка Гагенбека в Гамбурге. И получилось, что лютой зверь пьет воду из того водоема, возле которого токует сиротинушка.

Судно грузилось, утром предстоял отход, следовало начинать знакомство с делами, а я занимался чепухой. И настроение было такое, как когда я вдруг обнаружил, что начинаю забывать таблицу умножения и что таблицу следует время от времени повторять — хорошее открытие для капитана-наставника.

Из моей каюты виден был длинный коридор, огнетушитель на перборке и стенд с «Санитарным листком».

«Каждый должен знать методы оживления!», «Учись делать искусственное дыхание!» и т. д. Среди трафаретных заголовков выделялся рукописный — «Расплата», текст под ним был стихотворный. Я вышел в коридор и прочитал стихи, так как их автором был третий помощник Пескарев. Оказалось, что кто-то посмеялся над заботами Елпидифора о здоровье — ежеутренняя пробежка на месте в течение пятнадцати минут: «Он журил меня порой за то, что я бегаю, в жизни он любил покой, защищал до ярости: „Бегай ты хоть день-деньской, не уйдешь от старости!“»

«Нет, Ванюша, сверстник мой», —  
Молвил я участливо...  
Знал я — время разрешит  
Спор мой тот с коллегой:  
Он в земле давно лежит...  
Ну, а я все бегаю!»

Молодец Елпидифор Фаддеич, подумал я, принимаешь посильное участие в общественной жизни судна, баллады даже пишешь, людей учишь — молодец, Пескарев! И, подумав так, я поднялся в рулевую рубку.

Был глубокий, черный зимний вечер.

Сотня чаек ночевала на воде за бортом в зоне палубных огней. Чайки сидели на мелких волнах и качались на них, как на мокрых бременских осликах. Вся сотня правила строго на ветер, хотя и спала, клевала

носами. Спящие на черной воде светлые птицы производили какое-то лунное впечатление. Когда ветер сдрейфовывал сотню из зоны палубного света, они просыпались, лениво и сонно поднимались одна за другой, перелетали на ветер, в круг призрачных бликов, шлепались там на волнистых бременских осликов и опять клевали носом в беспокойной дреме.

За близкой дамбой скользили топовые огни проходящих по реке Везер судов. Эти огни были слабее портовых и городских, но по какому-то неведомому закону выделялись среди них и двигались деловито и уверенно, иногда только исчезая в оранжевых и голубых сияниях портовых светильников. Над всеми огнями беззвездной пропастью зияло зимнее циклоническое небо, обещающая уходящим в море болтанку и нерво-трепку. Плавкран «Атлет» выдергивал с причала огромные сорокафутовые контейнеры и ставил их на крышку второго трюма «Новосибирска». В третий трюм судовые краны опускали площадки с коробками баварского пива. Немецкое пиво отправлялось через зимнюю штормовую Атлантику в техасские бары. В четвертый трюм шли кишки. Немецкие кишки, заквашенные в черных шикарных бочках, напоминающих глупбинные бомбы, ехали в США для нужд колбасной промышленности.

Капитану «Новосибирска» было тридцать четыре, звали его Всеволодом Владимировичем, он был переполнен уверенностью в том, что весь мир существует только как полигон или сцена, на которых он может демонстрировать врагам и друзьям упругую деловитость, способность к звеняще-четким поступкам и блестящий английский язык.

Через двое суток мы уложили с Всеволодом Владимировичем «Новосибирск» на дугу большого круга, ведущую от английского Бишоп-Рока на американский плав-маяк Нантакет, и начали играть в лобовые атаки со встречными циклонами — у кого вперед нервы не выдержат. А в свободное от служебных забот время играли в преферанс в капитанском салоне при закрытых дверях, потому что карты на море-океане прещены даже для начальников.

Третьим гробил с нами здоровье и время кандидат химических наук Сергей Исидорович Клинов. Ученого отправили в рейс, чтобы немного оморячить, — он ожидал утверждения на должность заведующего кафедрой химии в мореходный вуз, а вообще был узким спецом по аномальному льду, из которого, как предполагают, состоит облака на Венере. Сергей Исидорович постоянно — даже в полумраке — носил темные очки. Он объяснил нам, что испортил зрение на вершинах Эльбруса, когда искал там следы аномального льда. Одновременно он дал понять, что альпинизм его хобби.

Игра шла с переменным успехом все девять суток океанского пере-

хода. Особого азарта и разгула страстей не было, пока к нам не подключился Пескарев.

Он постучался в капитанский салон около часа ночи по судовому времени и положил перед Всеволодом Владимировичем радиограмму. Радиограмма пошла по рукам в уважительной и сосредоточенной тишине. Супруга сообщала Елпидифору, что служебный стаж ему засчитан с 1941 года, партизанское прошлое учтено год за три и что с сего числа в возрасте сорока пяти лет он удостоен пенсии.

Таким образом, Елпидифор Фаддеич сразу как бы вышел из рядов плавсостава и лег на какую-то новую орбиту, и его не очень высокое служебное положение больше не могло служить преградой для игры в преферанс за закрытой дверью капитанского салона. А именно с просьбой разрешить ему принять участие в пукле он и прибыл к нам с пенсионной радиограммой в час ночи.

Я не так удивился ранней пенсии Елпидифора, как его просьбе. Это было мое первое удивление, за которым последовала цепь все более сокрушительных удивлений. Я как-то так и не предполагал, что тугодум и тихход Пескарев способен страстно увлекаться такой тонкоинтеллектуальной игрой, каковой является в нашем обществе преферанс. Но в свой звездный час за одну ночь Елпидифор Фаддеич обчистил, обципал, ободрал меня, молодого капитана и ученого специалиста по ненормальному льду, как бог ободрал зад макаки за миллион лет эволюции. Причем больше всех пострадал привыкший к победам на жизненном поприще молодой капитан; он схватил четыре взятки на мизере — и все стараниями Елпидифора, который еще утешал его, приговаривая сладеньким голосом, что, мол, кто не рискует, тот живет на зарплату.

Утром в заливе Делавэр погода была прекрасная — голубые небеса, кофейная вода, ярко-рыжие, как крик петуха, берега и пятибалльный ветерок. Но обыгранный своим помощником Всеволод Владимирович был хмур, брюзжал на мостике и придирался к досрочному пенсионеру, демонстрируя высший пилотаж капитанской капризности. Он распушил Пескарева за неподшитую бахрому у звездно-полосатого флага; затем обнаружил отсутствие на судне лодии Антарктиды, нужной ему в тот момент, как чайке вытяжной парашют; затем сгонял Елпидифора вниз за форменной фуражкой, утверждая, что возле берегов США у мыса Хендлопен, где черным по белому написано, что это район специального режима, советский вахтенный штурман Пескарев обязан быть в форме и форменной фуражке, но и опустить у фуражки ремешок под подбородок, чтобы каждый американский пескарь, черт побери, знал, с кем он имеет дело, и т. д., и т. п.

Должен признаться, что капризы у своих подчиненных — капитанов считаю положительным знаком свободы внутри профессии и профессионального мира. Капризность есть сигнал о том, что мужчина на капитанском мостике наконец вытеснил из себя комплекс запуганно-

го школьника и начал утирать сопли не рукавом, а платком, то есть поверил в себя и свое право быть там, где он есть.

Итак, Всеволод Владимирович разрешил себе покапризничать, когда мы приближались к месту приема лоцманов в заливе Делавэр у маяка Харбор-оф-Рефьюдж, а Пескарев покорно сносил придирки, потому что штурманская работа характерна абсолютной невозможностью практически соблюсти и выполнить все и вся, что теоретически требуется соблюдать и выполнять. Найти повод для придирки к вахтенному помощнику капитана так же легко и просто, как самой целомудренной женщине найти повод для снятия юбки на черноморском пляже в хорошую погоду.

В двух милях от Харбор-оф-Рефьюджа у мыса Хендлопен показался в кофейных волнах кувыркаящийся лоцманский бот. Здесь Всеволод Владимирович выдохся, ибо притупил молодые зубы о дубленую шкуру Елпидифора, и нормальным голосом приказал готовить лоцманский трап.

Елпидифор включил трансляцию на палубу и сказал, почесывая сквозь старые брюки левую ляжку: «Боцман! Выделите двух человек на лоцманский трап с левого борта! Как поняли?!»

Не успел боцман ответить стандартное: «Вас понял!», как Всеволод Владимирович опять вдохновился, и схватил молодыми зубами пенсионера, и опять принялся трепать его, как сиамский кот славянскую кошечку:

— Сколько раз слышу ваши такие объявления по трансляции, Елпидифор Фаддеич,— сказал капитан,— и каждый раз меня как-то так саднит и с души воротит, но я все терплю, терплю, терплю и сам не знаю, почему так долго терплю!

— Чем я вам опять не угодил? — спросил Елпидифор угрюмо.

— Он не знает! Стыд какой! Ну, а вот эти ваши «человеки»? Почему не сказать по-человечески: «Боцман, пошли двух матросов» или уж «пошлите двух моряков»? А вы — «два человека» или даже «два человечка» иногда себе позволяете говорить!.. Что-то такое от кабака старинного, от полового, от «Человек, два пива!». Понимаете, о чем я?

Елпидифор молчал, но по его физиономии распространялось подозрительное выражение слишком уж откровенного, тугодумающего дурака, который уже и сам знает, что он полный осел, и даже уже и не пытается скрыть свое тупоумие, потому что смирился с ним и даже полюбил его. И вот с таким тупоугольным выражением на окуневой физиономии Елпидифор наконец спросил у капитана:

— А с Горьким как быть, Всеволод Владимирович?

— А он при чем? — спросил капитан. — Он что, тут лоцманом работает?

— Нет, Всеволод Владимирович, свонное звание было «великий пролетарский писатель», — сказал Елпидифор, все храня на роже пре-

дельно тупоугольное выражение.— И как с евоным «Человек — это звучит гордо» быть?

— Вот и играй с подчиненными в запретные игры! — воскликнул капитан, адресуясь ко мне и неволью как бы восхищаясь находчивостью помощника, хвастаясь Еллидифором, как хвастаются молодые сельские хозяева бодливым бычком или злым щенком.

В Филадельфии мы стали к причалу в речке Скулкилл рядом с военно-морской базой. Берега там гористы от огромных куч всяческого военного и штатского утиля.

Был день Благодарения — американский всенародный праздник. Порт не работал, как не работают там по праздникам и городские сикспены, то есть суперуниверсальные универмаги.

Я за границей давно уж на берег не хожу и не езжу, кроме как к консулу или в сикспен. И в Филадельфии, да еще в праздничный день, на берег не собирался, но Пескарев уговорил меня и химика совершить оздоровительный моцион вблизи порта, чтобы «вложить персты в ихние капиталистические раны», как он евангелически выразился, подразумевая захламление окружающей среды.

В последний момент к нам присоединился боцман Витя — славный парень, единственной слабостью которого было шикарно одеваться, — и около шестнадцати по нью-йоркскому времени Пескарев в калошах, химик в темных очках, боцман в куртке из аргентинской овчины и я вышли за ворота порта.

До города было километров шесть изнасилованной земли. Пентроз-авеню возносилась на пятидесятиметровый мост над речонкой Скулкилл и потом очень медленно опускалась к горизонту по ажурной эстакаде. На авеню мелькали с частотой проблескового маяка автомобили, а все окружавшее нас припортовое пространство было лишено каких бы то ни было признаков движения и жизни: праздничная пустыньность накладывалась на припортово-пригородное запустение. Центром пейзажа был Эверест мертвых автомобилей — куча метров до тридцати высотой.

Сергей Исидорович объяснил, что металл североамериканского автомобиля так перепутан с негорючей и вонючей химией, что выплавить его обратно невозможно. Чтобы избавиться от автомобильного старья, его пытались топить в океанах и сбрасывать в вулканы, но это оказалось дорого. И вот Кордильеры автомобилей гниют на воздухе, а чтобы какой-нибудь озорник не мог использовать неисправную технику, их предварительно немного сплюсчивают под прессом.

Холодный ветер гонял взад-вперед по небесам низкие тучи и раскачивал увянувшие и высохшие сорняки на скулах придорожных обочин. От предельно загрязненной среды тянуло кровавым запахом мафии, боссы «Коза ностры» обычно вьют бандитские гнезда в брошенных прицепках на автомобильных кладбищах. По утверждению нашего американолога Ю. Жукова, для удобства работы гангстеры подключают к гнез-

дам телефон, пневмопочту, устанавливают поблизости сторожевые телевизоры и всякие другие новинки электронной техники.

Как старший группы, я счел необходимым поделиться этой информацией со спутниками. Но все, кроме ученого химика, навидались американских полицейских киноебоевиков и сами знали про жуткий внушительный смысл пригородных пустырей.

Есть, правда, и там поэзия. Ведь она всюду вообще-то. Даже в скорбном молчании заброшенных тусклых рельсов, в почерневшем зимнем сухостое бурьянов и шелесте облетевшей пушицы, в вечной зелени низкой травы, в подгнивших, но все еще колючих и тяжелых булавах дикой горчицы. Кустики этой горчицы только и показывали, что мы ближе к югу, нежели к северу. Поэзия была даже в двух старых товарных вагонах у тулика подъездных путей. Ведь когда ты долго плавал в океане, то тебя радует все земное. Но это я так, от сентиментальности стареющего моряка, все эти детали пейзажа к делу не относятся. А вот яблонька возле автомобильных Кордильер, яблонька, усыпанная райскими (или китайскими — никогда не знаю, синонимы это или нет) яблочками, имела к последующим нашим приключениям отношение.

Она стояла у самого порога автомобильного кладбища, опустив ресницы черных сучков и одновременно задрвав подол нижних ветвей, как перезревшая девственница, которой совсем уж невтерпеж от зова матери-природы и которая готова согрешить с кем угодно и даже на могильном холмике.

Яблонька соблазняла нас точь-в-точь как ее райская прародительница. Захотелось сломать усыпанную яблочками веточку и притащить ее в стальной гроб какоты или просто-напросто попробовать заморских плодов. Но в то же время мы испытывали робость перед собственностью Соединенных Штатов.

Первым преодолел робость Елпидифор Фаддеич. Он с партизанской решительностью свернул с бетона дороги в заросли ежевики. И, подчиняясь стадному инстинкту, мы свернули за ним и полезли сквозь ежевику, которая цеплялась за одежду и заставила боцмана Витю помянуть «титскую силу» — любимое боцманское выражение.

Елпидифор пер впереди нахраписто и целенаправленно, прокладывая тропу сквозь колючие и пожухлые заросли к краснеющей все больше по мере нашего приближения яблоньке и автомобильному Монблану за ней. Монблан этот уже закрыл половину серого неба. Автомобильные трупы лежали штабелем, давая друг друга и выпучив фары, как глубоководные рыбы на палубе траулера.

Добравшись до яблони, мы убедились, что она из тех красоток, физиономии которых лучше вблизи не видеть: плоды ее оказались пропыленными и прокопченными и осыпались от первого прикосновения.

— Эхма! Кто не рискует, тот живет на зарплату! — сказал тогда Елпидифор Пескарев таким тоном, каким наши отчаянной душевной широты предки сопровождали швырок треуха об землю. — Полезу-ка гляну

ихнюю технику вблизи! — И с глупым проворством полез на Голгофу из полупрессованных автомобилей.

Я и моргнуть не успел, как пенсионер оказался на бампере «мерседес-бенца» метрах в четырех выше плоскости истинного горизонта.

— Ничего евоный бамперок, — приговаривал он, охваченный непреодолимым интересом автолюбителя к удачам и промахам иностранного автомобилестроения, — а рессорчики-то дрянь, металл буржуи экономят, тонкое желездо-то на кузовах, ох, тонкое черти ставят — так что и прогибается-то под ногой! Как бы Пескарев калоши-то об ихний утиль не порвал...

— Я бы поостерегся на месте вашего друга, — сказал ученый химик. — Может выйти большой скандал, если хозяин этого склада увидит, как ваш друг там лазает без всякой предварительной договоренности и разрешения.

— Это почему же он мой друг? — рассеянно спросил я кандидата, наблюдая не без зависти, как шустро пенсионер одним броском перекинулся с «мерседес-бенца» на «понтиак», а вторым броском с «понтиака» на расплющенную, плоскую, как камбала, японскую «дэатсун». «Весь в отца — верхолаз», — с невольным одобрением подумал я о Пескареве.

— Да, недаром, титская сила, Пескарев каждое утро на велосипедном тренажере лаптями крутит! — сказал боцман Витя. От тоже любовался верхолазным искусством Елпидифора.

— Желтых фар навалом! — сообщил с верхотуры Елпидифор. — Целехонькие! Иваныч, может, вам открутить?

— Не надо, — сказал я. — Я, Фаддеич, автомобильный крест давно продал.

— Наука, а вам кронштейн для радиоприемника бросить? Хромированный! Ишь, черти, коврики в ихних салонах так и валяются, так и валяются... — несколько уже сомнамбулически приговаривал Елпидифор Фаддеич, удаляясь к серым холодным небесам по отвесному фасаду автомобильного штабеля.

— И зачем я гулять пошел! — воскликнул стонущим голосом химик. — Нужно мне было это гулянье — запросто влипнешь в историю! Остановите своего друга!

— На передних подвесках амортизаторы ихние хуже наших! — сообщил Елпидифор.

— Хоть и праздник у них, а добро они без присмотра не бросят, — сказал химик. — Вот всегда так, вот погоришь из-за чужого любопытства и ничего-то хорошего не выйдет!

— А вот мы этого партизана-пенсионера бросим здесь одного и домой пойдем! — сказал я в пространство возможно строже и громче, как говорят родители в зоопарке, когда их отпрыск не может оторваться от клеток с бегемотом и прячется за куст, чтобы минутку лишнюю на бегемота глядеть. Я так говорил потому, что Елпидифор уже исчез из поля зрения среди расплющенных «кадиллаков» и «фордов».

В ответ на автомобильном штабеле раздался не наш, не русский вопль, заставивший вспомнить Фенимора Купера, снятие скальпов и трагическую судьбу ирокезов. Затем раздался ужасающий мат Пескарева. Затем по гребню автомобильного штабеля отчаянными прыжками промчался какой-то незнакомый человек. Затем что-то наверху чудовищно захлопотало, и весь штабель содрогнулся, и вместо исчезнувшего незнакомца поднялось облачко рыжей ржавой пыли. Затем все стихло. Затем откуда-то издалека, с той, противоположной стороны штабеля донеслось: «С-О-Б!» — распространенное в англосаксонских странах выражение, обозначающее в буквальном переводе «сын суки».

— Елпидифор Фаддеич, что там с вами?! Вы живы?! — заверещал кандидат, подбежав под штабель, подпрыгивая от волнения и задрвав голову к небесам.

Елпидифор не отвечал. Вместо ответа со штабеля соскользнула и, переворачиваясь в воздухе, полетела на химика одинокая калоша. Химик успел отпрыгнуть, но очки сорвались с его носа и брызнули о камень.

— Что там с вами происходит, Пескарев, черт возьми?! — заорал и я. — Немедленно доложите!

— Индеец!.. — доложил Елпидифор, высовывая голову из дыры в штабеле на высоте приблизительно пятнадцати метров над уровнем моря. Голова третьего помощника высунулась из хитросплетения перекорюженного металла точь-в-точь как у Чарли Чаплина в «Новых временах», когда его затянуло в заводской механизм и он извивался между шестерен, изредка показываясь на поверхности, где его кормили кукурузой.

— А мобыть, негр! — засомневался Елпидифор в национальной принадлежности убежавшего аборигена. — Там наши «Жигули» обнаружили, по-ихнему «Лада», а он и выскочил! С того бока удрал, за им весь крайний ряд обвалился: Пескареву, кажись, теперь отсюда не слезть!

— Индеец! Господи! — прошептал химик, потрясенный и разбитый мочкими, и всем вообще происходящим. — Подумать только! Индейца чуть не убили!

— Товарищ наставник, а ведь третьему оттуда действительно, пожалуй, самому не слезть, — сказал боцман Витя, оценив ситуацию с точки зрения профессионального такелажника. — Побегу-ка я на пароход за веревками, разрешите?

— Сам знаешь: поодиночке здесь бегать нам не положено — гангстеры и прочее, — сказал я. — Может, это и не просто индеец был или негр, а какой-нибудь Пол Варио — матерый главарь подпольной штаб-квартиры мафии, черт знает. Вообще-то в принципе я бы, Витя, не возражал, чтобы Пескарев там на холодном ветру среди теней всех погибших под этими колесами посидел некоторое время. Ему, черт бы его



за его прыть и глупость побрал, полезно было бы побыть там пару чашиков.

И тут я вспомнил, что главной причиной пиетета перед ученым-химиком было занятие альпинизмом.

— Подожди, подожди, боцманюга! — обрадовался я. — Нам наука поможет! Сергей Исидорович, какова с вашей альпинистической точки зрения ситуация? Можем мы покрыть срам Елпидифора Фаддеича своими силами? Быть может, вы разработаете и подскажите маршрут безопасного спуска или даже сами за ним слезаете? Ведь вам, вероятно, раз плюнуть?

— Вы что, не видите — у меня очки разбились? — спросил альпинист. — Вот всегда, как неприятность, так все стараются меня в нее больше всех впутать! И, если хотите знать, никакой я не альпинист и не горнолыжник, я это просто так говорил, случайно, чтобы чем-нибудь компенсировать трудное положение в специфическом мире на корабле, — вы-то, как интеллигентный человек, это должны понимать!

— Бежать? — спросил боцман, застегивая пуговицы на куртке из аргентинской овчины.

— Давай беги! — сказал я. — И капитана сюда! Пусть сам своих помощников спасает! Не мое это наставническое дело!

Боцман помчался на пароход, а мы с химиком остались у подножия Монблана сплюсненных автомобилей. Елпидифор предпринимал робкие попытки самостоятельного возвращения на землю и сильно гремел железом в разных точках Монблана.

Было зябко, ветер дул порывами с разных направлений, как всегда на пустырях. Истерзанная, смешанная с углем, копотью, металлом, битым кирпичом, нейлоном и перлоном земля сиротинилась под серыми филаделфийскими небесами. Грустно шуршали мертвые бурьяны, лопухи, полынь, пушица, хилый камыш и осока в придорожных обочинах. Понуро тянулась куда-то незамкнутая ограда из железобетонных столбов с кронштейнами и проволокой на них. Два дырявых товарных вагона пригорюнились на давно не езженных рельсах. Далеко за вагонами виднелась в сером небе рекламная полуголая женщина. Она лежала над пригородно-свалочно-близпортовым пейзажем, подперев рукой голову и мерцая плечами, — там была автозаправочная станция. Глупая райская яблонька и рекламная женщина переглядывались, а может, и переговаривались, когда никого здесь не было.

Мне вдруг захотелось бросить моря и океаны к чертовой матери и лежать, подперев голову рукой, на диване, и чтобы рядом было мягкое женское. И еще почему-то подумалось, что в этих мертвых, холодных автомобильных трупях когда-то было тепло, и в этом автомобильном тепле было зачато много новых автолюбителей.

Все время, что я созерцал окружающее и мыслил, химик стоял, сложив руки на груди и бессмысленно уперев взгляд в пышный поролоновый двуспальный матрас. Матрас развратно валялся среди консервных

банок. Его владелец, возможно, лишился супруги и отправил матрас на помойку, чтобы не терзаться воспоминаниями о мягком женском.

— Разрешите и мне уйти на судно, — наконец сказал химик.

— Вам уже поднадоела заграница? — спросил я.

— Мне холодно! — сказал химик. — Чего он там так шумит?

Елпидифор действительно трепыхался на ржавом Эльбрусе и гремел там железом, как Прометей цепями. И орел должен был на этот шум прилететь.

И прилетел.

Елпидифор вдруг затих, и сверху донесся хриплый шепот:

— Ложись, товарищи! Ихний луноход катит!

— Кто катит? — спросил химик.

Я объяснил, что луноходом в наш космический век моряки со средним образованием называют машины спецназначения.

На повороте дороги показался полицейский сине-бежевый «форд» с мерцающей на крыше синей лампочкой.

— Кошмар какой-то! Кафка! — сказал химик. — Будем ложиться?

— Сядем, — сказал я.

Мы сели на американский матрас, задрав колени выше головы, — поролон оказался замечательно мягким. И на некоторое время я почувствовал успокоение, которое испытывает гусь, засунув голову под крыло: полицейский автомобиль исчез за близким бурьяном и кустиками горчицы. И появилась надежда, что он нас тоже не видит.

Но Елпидифор разрушил гусиные иллюзии, доложив хриплым шепотом:

— К вам!

Себя Пескарев почему-то отделил от нас с химиком.

— Кошмар какой-то! Накрылась кафедра! — сказал ученый и нацепил на нос пустую оправу от очков.

— Спокойно! — сказал я по капитанской привычке.

— Карта не прет — сиди, Пескарев, на горе: оттуда виднее, как других раздевают, — с партизанским хладнокровием сказал с Голгофы Елпидифор преферансную прибаутку, и мне показалось, что он там хихикнул. И я не мог не позавидовать его хладнокровию и способности к юмору в страшный момент.

Мягкий рокот супермотора и шелест шин приближались.

— Боже милостивый! — простонал кандидат. — Нужна мне была эта экскурсия!

— Заткнитесь, так вас и так! — сказал я, теряя вежливость. — Кто мог знать, что Пескарев настолько глуп, что полезет на эту свалку?

Елпидифор громыхнул железом над нами.

— Не двигайся, бога ради! — попросил я.

— Я на аккумулятор сел, а он заряженный! — прошипел Елпидифор. — Заряженные аккумуляторы выкидывают — вот сволочи! Посиди тут!..

Рокот мотора затих, близко зашуршали шины по гравию, и прямо перед нами выдвинулось из зарослей бурьяна и горчицы блестящее крыло полицейского «лунохода». Вероятно, для опознания с вертолетов или из космоса на крыше его, кроме вращающихся синего и красного устройств, был еще огромный белый номер «611», а всевозможные мелкие номера и надписи располагались по периметру. За рулем же располагался детина из тех, кому кровати строят по заказу, а гроб таким вообще не требуется, потому что, на мой взгляд, подобные детины никогда не дохнут — даже и при собственном желании. Я лбу детины горела здоровенная металлическая блямба с гербом Филадельфии. Пистолета тридцать восьмого калибра видно не было, так как он его еще не достал. Детина жевал жвачку и смотрел куда-то мимо нас. Из его «лунохода» доносились через открытое окно музыка. Я воспринимал ее как реквием, хотя это было что-то более современное, типа: «Я рожден, чтобы задать вам перца!»

Холодный ветер стонал в Монблане железа за нашими спинами. С потревоженной колесами прошлогодней растительности осыпалась труха.

— Шериф? — проямлил химик одними губами.

Полицейский же и я молчали.

Вообще-то существует простое правило для того, чтобы не дать повода для общения с вами незнакомому человеку — ну, например, пьяному на трамвайной остановке или полицейскому в чужой стране. Никогда не глядите им в глаза. Это простецкое правило, как и все вообще правила, нетрудно запомнить, но мучительно выполнять.

Шериф жевал резинку и тянул резину замечательно. Он чувствовал себя полностью в своей американской тарелке, тем более что их автомобиль — это уже и не средство передвижения, а служебный кабинет на колесах с тормозом или гостиния с карбюратором на амортизаторах.

Полицейское молчание, извиваясь, тянулось к нам, ощупывало нас шершавым хоботом мамонта, пощипывало потаенные бугорки и прычки в дальних и темных закоулках наших душ.

— Скажите ему что-нибудь! — прошептал изнемогающий химик.

— А чего ему говорить? — прошептал я в ответ.

— Ну, поздравьте его с праздником! — прошептал изнемогающий химик. — Какой у них праздник?

— Заткнитесь! — прошипел я, не разжимая зубов.

Но ученого, наоборот, вытошнило со страху полным запасом его английской грамматики и американских слов:

— Гуд бай хау ду ю ду олл райт, сэр!

Полицейский детина даже перестал жевать резину, потом спросил:

— Шведы? — и плюнул изжеванной жвачкой в ближайший «кадиллак» с мощью пневматического ружья или аэродинамической трубы. Розовый комок жвачки расплющился на «кадиллаке» в пленку микронной толщины.

— Что он говорит? — спросил химик, сжимая мое колено.

— Он спрашивает, шведы мы или нет, — объяснил я химику. Меня сильно тянуло стать шведом. Кандидат, оказывается, испытал то же извращенное желание.

— Скажите, бога ради, «да!» — пробормотал он.

— Русские! — сказал я, потому что не мог так уж сразу стать Мазепой и продать предков.

— Бродячую собаку здесь не видели? — спросил полицейский с невозмутимостью мамонта, которого только что извлекли из вечной мерзлоты.

— Нет, парень, — сказал я, с исключительной волей продолжая прятать глаза, только теперь я упер взгляд в далекую рекламную женщину.

— Извините! — вежливо сказал полицейский, очень длинно выругался, и его автомобиль тихо, как взбесившийся карибу, прыгнул из сорняков на дорогу и исчез за поворотом со скоростью молоденького привидения.

— Что он сказал? — спросил кандидат наук.

— «Почеси свой зад разбитой бутылкой», — перевел я полицейское ругательство со вздохом облегчения.

— Кошмар какой! — сказал химик. — Он нас наверняка сфотографировал!

— Да он лап с руля не снимал, — сказал я. — Уберите наконец дамский велосипед с носа!

— При их-то технике! — воскликнул химик, снимая оправу с носа. — Они из пуговицы фотографируют!

— За подмогой поехал! — донеслось с небес. — Торопиться Пескареву надо!

— Вы как хотите, а я пошел, — понижая голос до таинственного шелеста, сказал химик. — Шериф здесь наверняка какую-нибудь электронную подслушивающую штуковину оставил!

— Но-но, — сказал я, поднимаясь с матраса. — Никуда вы один не пойдете. Здесь полно бродячих собак. И успокойтесь, Сергей Исидорович. Вы еще должны судьбу благодарить. Быть может, вы сейчас будущего президента Соединенных Штатов видели и с ним познакомились, — продолжал я ободряющим тоном. Сергей Исидорович все-таки первый раз был за границей, его нервное состояние можно было понять, и не следовало сердиться; наоборот, следовало ученого развлечь, зарядить оптимизмом.

— Эхма, разводного ключа нет! — донесся повеселевший голос Елпидифора. Одновременно с верхотуры доносились звуки какой-то целенаправленной человеческой деятельности — там звякало и ритмично поскрипывало железо.

— Президент? Какого президента? — переспросил химик.

— Американский писатель Эрскин Колдуэлл, — начал объяснять я, закуривая и разминая закаменевшие члены, — утверждает, что в этой удивительной стране множество политических деятелей начинали с ловли собак. Если уж на то пошло, так большинство известных сенаторов, членов конгресса и президентов начинали здесь политическую карьеру именно с этого. Вряд ли, Сергей Исидорович, мы найдем здесь хоть одного крупного политика, который раньше не занимался бы ловлей собак.

— Не говорите ерунды! Не может этого быть! — огрызнулся Сергей Исидорович, кутая горло. — Я несколько другого мнения о политических деятелях США. Не забывайте, им хватило ума вступить на путь мирного сосуществования!

— Политика здесь, по мнению Колдуэлла, странная вещь, — сказал я. — То, что во всяком другом деле обязательно, к ней никаким боком не подходит. Политический деятель здесь начинает карьеру, ну, допустим, собаководом, а не успеет оглянуться — и он уже перемахнул через это.

— Ваши разговорчики вечно какие-то двусмысленные, — сказал ученый холодным и тихим, как вода в омуте на Колыме, голосом и повертел головой, ища подслушивающие устройства.

— Вон идут спасатели, — сказал я. — Скоро обо всем этом вы будете вспоминать с улыбкой.

По дороге широко шагали молодой капитан и боцман Витя с бухтой бросательного конца на шее.

— Что тут с моим помощником? — спросил Всеволод Владимирович деловито. Он был полон решительности, был собран, отлично выбрит и зарумянился на холодном ветру, ему хотелось действий, хотелось сложностей, чтобы решать их на моих глазах и чтобы я потом доложил о его молодой и дерзкой упругости на совете капитанов или в службе мореплавания.

— Я думаю, Всеволод Владимирович, что вашего помощника пора оттуда снимать, — сказал я.

Всеволод Владимирович цепким взглядом обвел Эверест никелированного и ржавого железа, прикинул вертикальные углы и дистанции, растопырив пальцы по образцу секстана, и сказал:

— Ну-с, то, что влезать куда-нибудь легче, нежели слезать, это так же точно, как то, что наплодить автомобилей легче, нежели от них избавиться. Верно я говорю, Елпидифор Фаддеич? Как меня понял?

— Вас понял! — донеслось с верхотуры.

— Значит, считаете, пора его оттуда снять? — спросил меня капитан задорно.

— Давайте действуйте, Всеволод Владимирович. До следующего патруля операция — кровь из носа — приказываю закончить!

— Какого патруля? — спросил капитан.

— Полицейский здесь ездит, — встрял химик. — Шериф.

— Есть! Ясно! Понял! Давай, дракон, кидай ему скорей веревку! — приказал коллега боцману. — Стыд какой! Никогда с моими помощниками такой ерунды не было. Сейчас здесь еще и наш агент поедет, и увидит Елпидифора на куче, и спросит, ясное дело, чего он туда полез. Что я ему скажу? Бросай скорее, Витя!

Дракон Витя раскрутил в американском воздухе бросательный конец, как Балда веревку в пруду с чертями, и выпустил ее в направлении Елпидифора. Тяжесть с глухим звуком ударила в бампер «бьюика» метрах в трех от «кадиллака», из которого наблюдала за происходящим голова третьего помощника.

— До бросательного сам доберешься? — спросил капитан.

— Попробую, — сказала голова Елпидифора и почесала в затылке.

— Не робей! — обрадовался капитан. — Молодец, Фаддеич! Начинай! Только не развали всю кучу. Если вон тот «ягуар» заденешь, все завалится и нас прихлопнет. Ты там поосторожнее, Фаддеич! Если всю кучу развалишь, лучше на пароход не возвращайся! Как слышишь? — пошутил он.

— Мне все до последнего звука слышно, прямо как стереомагнитофон здесь стоит, — объяснил Елпидифор, начиная сползать из «кадиллака» к «бьюику». И сразу нарушился баланс равновесия во всем огромном штабеле. В глубинах его что-то затрещало, и мне показалось, что гора собирается сделать наконец шаг к Магомету.

— Берегись! — заорал капитан. — Лезь назад! Как понял?!

И Елпидифор в мгновение ока забрался обратно.

— Вас понял! Не двигаюсь! Даже вздохнуть боюсь! — доложил он.

— Так! — сказал капитан и сверился со своим золотым полухронометром. — Ты все-таки двигайся, Фаддеич! Как же ты, черт побери, слезешь, если не будешь двигаться?

— А черт его знает как! — сказал Елпидифор плачущим голосом. — Пожарных надо!

— Пожарных! — наконец искренне возмущился мой молодой коллега. — Я те дам пожарных! На пожарных годовой валюты не хватит! Гори там хоть голубым огнем. Шевелись давай!

— Нельзя тут шевелиться! — сказал Елпидифор

— Слезай, олух царя небесного! Слезай, как хочешь! — вдруг зарычал из меня какой-то стареющий и стервенеющий ягуар

— Не слезешь — я тебя до конца рейса в пассажиры переведу или в матросы без класса! — зарычал следом за мной капитан. — А ты меня знаешь, я слово держу крепко! Чего молчишь? Оглох ты там, что ли?!

— Кошмар какой! — прорычал кандидат — Воспаление легких здесь с вами схватишь!

— Слезай! — проревел капитан. — Я тебе такую характеристику напишу, что мама родная не узнает и визы как ушей не увидишь! Я слов на ветер не бросаю!

— Плевать я на визу хотел! — ответил Елпидифор. — Я, считай, уже уволился!

— Я тебе такое сочиню, что вместо пенсии шиш получишь, — заверил Елпидифора капитан. — Прыгай! Ты меня знаешь, я слов на ветер не бросаю! Тащи матрас сюда, Сергей Исидорович! Боцман, стань на страховку! До трех считаю! Раз!. Стыд какой! Лезть боится! Два!.. Я тебя предупредил, Пескарев: такое напишу!.. Ну!.. — и топнул ногой, как конь Александра Македонского.

— Разобьется ваш Пескарев в мелкие брызги! — с едким злорадством, несколько неожиданным в его положении, сказал в ответ Елпидифор. — А вам самим тогда мешок завяжут!.. Ладно! Пушай! Лезу! Пойдите, только калошу брошу! — Он вытянул руку с калошей над пропастью, тщательно прицелился и разжал пальцы. Калоша попала в центр матраса, положенного химиком на том самом месте, где ученый лишился очков, и запрыгала на матрасе, как клоун на батуте.

— В ней что-то есть! — сказал боцман.

— Что там? — спросил капитан.

— Вроде, титская сила, что-то живое, — сказал боцман.

— Боже милостивый! Амортизатор там, — первым рассмотрел химик, хотя и был без очков. — Амортизатор от передней подвески «Жигулей»! В экспортном варианте!

Елпидифор устремился вослед за амортизатором, как нитка за иголкой. Всеволод Владимирович не успел «три» сказать, как его помощник оказался на «бьюике» возле зацепившегося за бампер бросательного конца. Штабель угрожающе постанывал, но не завалился.

Подвел Елпидифора бросательный. Он оборвался, когда между Елпидифором и землей Соединенных Штатов оставалось еще три-четыре ярда. Елпидифор шлепнулся на матрасную синтетику, был отброшен ею по траектории калоши и сильно треснулся головой о райскую яблоньку. Ее плоды щедро обсыпали нас.

— Замечательный все-таки матрас! — воскликнул капитан, убедившись, что его подчиненный цел и относительно невредим. Удачное завершение операции вернуло Всеволоду Владимировичу веселость и жизнерадостность. В конце концов это его воля, его умение принять на себя ответственность и отдать приказ решили дело.

— Мне бы на веранду такой, — пробормотал Елпидифор, потирая лоб и озираясь вокруг потрясенными глазами, открывая как бы божий мир заново. — А птичек у их нет — не чирикают! — отметил он на всякий случай отрицательный факт капиталистической действительности.

— Чирикать вы будете, — весело сказал капитан. — Сегодня же на общесудовом собрании чирикать будете.

Елпидифор хмыкнул.

— Боцман, — сказал я. — Дайте-ка мне его калоши и амортизатор.

Боцман Витя предвкушающе заржал и подал пескаревские причиндалы. Елпидифор насторожился и не очень уверенно, но все-таки пробормотал, что, мол, права не имеете...

Я закинул на штабель сперва одну калошу, потом амортизатор. Вторую калошу попросил Всеволод Владимирович, он заканючил ее у меня, как мальчишки канючат друг у друга рогатку. Я дал капитану побаловаться. Он долго выискивал, куда бы занятнее было ее запузырить. И наконец забросил в товарный вагон.

Тем временем уже вечерело.

Цветными огнями вспыхнули далекие городские рекламы Филадельфии. В сизо-рыжих сумерках исчезла полуголая красотка автозаправочной станции. Полурасплющенные «кадиллаки», «мерседес-бенцы», «форды», «роллс-ройсы» вздохнули с облегчением, глядя в наши удаляющиеся спины. Им хотелось покоя и тишины после шумной жизни и тяжких гонок по авеню и стритам.

— В гробу Пескарев ихних птичек видел! — вдруг заявил Елпидифор, с задержкой реагируя на угрозы капитана. — Америка — что? Америка — суета! И хоть будь они тут все до единого машинисты и изобретатели необъятные какие или кто — черт с ними, не моей души они люди...

Через сутки мы снялись из Филадельфии.

Первые сутки в океане погода держалась приличная, к полудню закончили подкрепление груза, после обеда отоспались, а вечером капитан собрал экипаж и раздолбал Пескарева за унижающее достоинство нашего гражданина поведение.

Я на собрание не пошел. Но около двадцати одного поднялся на мостик, где нес вахту Елпидифор, чтобы посмотреть на него и приободрить, если ребятишки раздолбали его слишком уж беспощадно. Но ободрений не потребовалось. Елпидифор Фаддеич выглядел вполне нормально и сразу попросил у меня разрешения подбить кассовый отчет, так как вахта у него спокойная, а отчет нужно радировать в парокходство срочно. Вообще-то вахтенному судоводителю ничем посторонним на мостике заниматься не положено, но я разрешил и сказал, что побуду сам здесь, посмотрю вперед, пока он будет занят.

Елпидифор поблагодарил, вытащил чемоданчик с бумагами и валютой и начал считать не использованные экипажем в США и сданные ему обратно доллары и пенсы. Чемоданчик Елпидифора был отлажен, как сундучок древнего паровозного машиниста. Там и перегородочки были наделаны с крышечками, и счеты миниатюрные, и машинка счетная, и кармашки для ручек, и даже фонарик. Все показывало, что за десятилетия плавания третьим помощником Елпидифор довел рационализм счетной работы до высочайшего класса.

Не знаю почему, но при виде того, как Елпидифор надел на пальцы резиновые с присосками футлярчики и как начал считать пачку пятидолларовых бумажек, мне вдруг захотелось, чтобы у него баланс не со-



шелся. И когда я поймал себя на этой мысли, он как раз поднял глаза, и взгляды наши встретились. Елпидифор что-то такое в моих глазах усек, и по его лицу проскользнула глупенькая улыбка.

— Ну, как хозяйство? В порядке? — спросил я.

— Промахнулся, — сказал Елпидифор, вздыхая обреченно.

— На сколько? — поинтересовался я, ощущая крепнущее удовлетворение по этому поводу.

— На пять долларов, — сказал Елпидифор и принялся заполнять ведомость.

— Я скажу командирам, пустим шапку по кругу, — пообещал я.

— Спасибо, Петр Иванович, вы всегда ко мне с добром, — поблагодарил Елпидифор и опять ухмыльнулся.

Я оставил его подбивать бабки и шагнул во тьму рулевой рубки.

В просвете облаков торжественно царил Орион. Он был чуть левее нашего курса. Ветер давил в левый борт, и теплоход шел с легким, градуса в полтора, креном на правый. Почему-то наш «Новосибирск» чувствовал себя уютнее с легким правым креном. Тогда он нес на мачтах облака, как довольный жизнью гуляка шляпу — с заломом. Грузовые краны были оставлены в вертикальном положении — на крышках трюмов стояли в два ряда сорокафутовые контейнеры. Верхушки кранов попадали в конус света от заднего топового и тихо желтели среди ночной тьмы. Эта тьма лежала над океаном еще не сплошь — на западе оставались последние отблески заката. Волны накачивались медленно, потягивались и изгибали спины, как добродушные, сытые черные пантеры длиной от носа до кончика хвоста в сотню метров. Пена обрамляла их загривки.

Я глядел на ночной океан и поругивал про себя финских судостроителей. Лобовые стекла рубки они сделали наклонными, атакующими воздух — современными в архитектурном смысле, — но конструктор не учел законов оптики. Стекла собирали и задерживали отблески от сигнальных лампочек на пультах управления и — что еще более неприятно и опасно — живые огни судов и маяков из кормовых секторов. И эти отблески в стеклах легко можно было принять за огни каких-нибудь объектов по носу, то есть впереди по курсу. Я раздумывал об этом, взвешивая, есть ли смысл войти в финскую судостроительную фирму с соответствующим письмом, и успеют ли финны переделать конфигурацию лобовых стекол на оставшихся судах серии, и следует ли мне вообще лезть в это дело, и не скажут ли в инстанциях, что я чересчур суетлив с разными дурацкими предложениями, и т. д. и т. п.

— Честно ответите, Петр Иванович? — спросил из тьмы Елпидифор, и я услышал его тихое глуповатое «хи-хик».

— Что у вас?

— Вы давеча обрадовались?

— Чему обрадовался?

— А что я промахнулся на пятерик?

— С чего ты взял?

— Не ответили честно-то, — пробормотал он, становясь у соседнего окна.

Я помолчал, удивляясь тонкости, с которой он усек подспудные движения моей души. Ведь вообще-то за длинную капитанскую жизнь каждый из капитанов научается лицедействовать не хуже Смоктуновского.

— Потому не ответили, что честность-то штука двойная, — сказал Елпидифор, — с одной стороны, вы бы, промахнись я на пять долларов, мне кровный пятерик отдали и ухом не повели; а с другой — за это удовольствие для себя получили от сознания, что мне, Елпидифору Пескареву, может быть, неприятно от вас брать, но я, то есть Пескарев, все одно возьму, потому как человек экономный и окладик имею маленький; так, Петр Иванович?

— Ишь ты! Прямо и не Пескарев, а Достоевский! — сказал я, испытывая некоторое мимолетное, но, однако, вполне определенное смущение от точности его попаданий.

— Достоевский писатель скучный, я его почитывал, скучнее евоных книг только современные, — сказал Елпидифор.

И я с ним живо согласился и по поводу Достоевского, и по поводу современных книг. Мне с ним в тот момент пришлось бы живейшим образом согласиться по любому вопросу, ибо я испытывал смущение, а смущенного человека бери голыми руками.

— Достоевский за лес стоял, за сохранение зеленого друга, — сказал Пескарев и хихикнул во тьме — А я вот думаю, он за лес стоял по той простой причине, что если мы березу да иву всю сведем, то розги не из чего будет делать... А радовались вы, Петр Иванович, давеча зря: не просчитался Пескарев. Пескарев за четверть века один разик накладку допустил с денежками. Конфетку-леденец же-лае-те? — спросил он, и я услышал шелест конфетной обертки.

— Потом. Курю сейчас, — отказался я. — И много промахнулся?

— Десять форинтов. В Роттердаме. На десятку Пескарев ошибся. Сбросились товарищи. А я возьми да и найди потом денежки. Новенькие были, подлипли одна к другой, а вместе к бумажке на столе. Ну, я подумал, да и не сказал никому. Не одобряете? — спросил он и опять хихикнул глуповатенько.

— Всяко бывает, — сказал я. — Разные мы воспоминания храним.

— Вот я и думаю, куда, дескать, за утаенные форинты и американские амортизаторы я попаду: на небеса куда аль в ад, и простят ли мне ангелы на том электронном свете аль нет?

«А ведь он, сукин сын, надо мною издевается, тончайшим образом издевается за мой фортель с калошами!» — с очередным удивлением отметил я. И удивление это было уже сильнее того, нежели когда он ободрал нас в преф по копейке. И захотелось взглянуть ему в лицо, но тьма уже плотно заполняла ходовую рубку, и только бродили внутри

лобового стекла потаенные отблески от сигнальных огней на пультах автоматического управления двигателем.

— Простят,— сказал я.— Не велики грехи. Да и повинную голову топор не сечет.

— Ну, а Бордо-то помните? Как я сталь игрушками раскрепил?

— Конечно, помню.

— Это я совершил, чтобы меня раз и навсегда по служебной лестнице в гору не толкали, чтобы в покое оставили,— и точно: никто больше меня с третьего помощника выковырнуть не пробовал. Думаете, Пескарев бредит аль заговаривается по пенсионному положению? Нет, Пескарев при трезвом сознании. Вы вот, Петр Иванович, в гниднике, что в Бруклине-то, в подвальчике, бывали когда? Нет! И в Гамбурге к Мореску не ходили и не пойдете, а мохерчик-то там по доллару всего клубочек. Вы в такие торговые точки и нос не сунули! Престиж чтобы нашей великой страны охранить... А я суну — по закону все, по разрешенной тропке, конечно. В эмигрантские торговые точки и ни в жисть не ходил, пускай туда салаги ходят, а в разрешенный гнидничек обязательно загляну, а в результате-то окладик мой месячный никак уж и не меньше вашего все эти годы выходил. Теперь квартирку возьмем. Вы старый ленинградец, значит, в «банном обществе» состоите и до сей поры, так?

— Не понял,— сказал я.

— Старые ленинградцы где общаются-то? В бане! Потому как в старых домах живут без коммунальных удобств, без ванной. Вот и таскаются в баню с пакетиком. А новые ленинградцы-то, вроде меня, в новых домах проживают. Ну ладно, здесь закончик неправильный виноват: что ежели санитарная норма в метраже соблюдается, так и не положена тебе другая фатера, даже если в коммуналке сто пятьдесят семейств обретаются. Но ведь не только в этом законе дело, нет, не в ем! Ей вот, какой ленинградке старомодной, предложи наша власть квартирку-то в Автово, а она? Она этак нос-то и отворотит: «Ав-то-во?! Вы мне, может быть, еще в Вологде предложите?» Это ее удаленность пугает. «Я, говорит, в центре живу, родители мои тут на Маклине аль на Халтурине скончались! И отсюда на окраины ваши не поеду!» А она в Автово последний раз на извозчике ездила пятьдесят лет назад аль еще до революции, и что туда метро проложили — и не ведает даже, и проживает в уплотненной конюшне графа какого аль в его прихожей, с кошкой своей и бульдогом... Это я не про вас персонально, Петр Иванович, а к слову, извините, если что не точно сказал.

А сказал он это как раз с такой точностью, что Гоголю бы в пору. Я так всех старых ленинградцев и увидел, карасей-идеалистов. И засмеялся. И мой смех придал Елпидифору прыти.

— А где теперь ваша машинка, Петр Иванович? Которую себе брали и мне устроили, за что я вам по гроб благодарен, между прочим, где она? А я вам отвечу! Гаражик-то вы не соорудили, машинка-то погнила на свежем воздухе, да и ободрали ее всякие завистники, похабными над-

писями обезобразили, и продали вы ее через магазин на Садовой ни за понюх табаку.

Все было почти так.

— А у меня та машинка теперь в новые «Жигули» преобразилась. И ни одного рублика-то я в нее нового не вложил. И трудов не вкладывал! И по закону все, по строгому закону, Петр Иванович, чтобы не подумали, что без закона-то! Я ее по доверенности одному грузину полковнику на два года уступил, а супругу в очередь записал. Грузин потом уехал и гараж мне оставил, тут я с гаражом и с автомобилем оказался, потому что без автомобиля дальнейшие планы не мог осуществлять, а почему не мог? Потому что дом ставить задумал!.. Огонь право десять, желтый какой-то или мерещится? Один момент — радарчиком проверю и визуальный пеленг возьму!

Он занялся штурманскими делами.

Я тоже взял бинокль. Огонь был желто-оранжевый, а сигнальные огни судов желтыми не бывают. Кроме того, огонек не был постоянным, он мигал, как мигают луноходные огни на машинах. И я не сразу вспомнил, что такой часто-проблесковый огонь ночью в надводном положении носят американские подводные лодки.

Я сказал об этом Пескареву. Он взял до лодки дистанцию, пеленг, то есть сделал все, что положено, и вернулся ко мне с секундомером и фонариком.

— Мы дачи за тысячи приобретать не можем, — сказал он, подсвечивая фонариком фотографию и показывая ее мне. На фото крепко стоял среди старых лип большой дом. — Мы его за двести пятьдесят рубчиков приобрели — и ни цента сверх того! А сгнил только один нижний венец, валунчики-то под им в землишку вдавились, он, нижний венец-то, и погнил, а мы его поддомкратили, венчик-то мне мужики сменили, а под венчик-то уже сплошь камень зафундамили; ну, печи стояли старомодные, так я их повывламывал, да и выкинул. В девять комнат дом-то, веранда. Сто лет простоит. В чудо теперь домик обратился, в истинный рай и чудо, а спроси: на что? А я честно и ответчу: на мохер да на открыточки! Ну вот эти, что в каждом порту, голенькие красули, по восемь штук на западнонемецкую марку, а в Нью-Йорке они по десять центов, — не совсем, ясное дело, голые, а какие ежели наклонишь, то немного этак обнажаются, — и ни-ни, никакой порнографии, все по закону, все, Петр Иванович, по закону. Посулишь бульдозеристу такую красочку, вот он тебе и напихает между делом валунов на цельный фундамент — так напихает, безо всякого бизнеса, по дружбе. Уметь надо с народом, Петр Иванович, жаждет душа евоная всякого прекрасного восприятия, хотя завистлив наш народ, ох, завистлив! Я первую зиму уехал из поместья-то своего и окна не заколотил. Весной приехал — стекла выбиты. Ну скажи: кому это душу согрело, зачем, почему? И ведь не детишки били — я знаю, проверял, с детишками у меня контакт налажен,

я им с каждого рейса или картинок переводных, аль модель какую ни- когда не забуду подбросить... Мужики били!

— Комаров-то там у вас много?— спросил я, чтобы что-то сказать.

— Много! Действительно, неудобство роковое! Птиц сейчас изу- чаю, чтобы комаров ели. Разведу птичек. А без комаров только на Ка- рельском перешейке и есть места. Но там народ балованный — за го- ленькую открыточку бульдозер не погонит. А я на реке Свирь стою, воз- ле Ладоги. Я ведь почему еще туда взгляд бросил? Не только что там за двести пятьдесят рубчиков сруб отдают, но и с большим расчетом. Здесь нас сейчас, Петр Иванович, никто не слышит, я тебе всю душу открываю, чтобы тебя поучить, ведь мне тебя жалко, Иваныч, ведь ты всю жизнь ко мне добром — я знаю, я добро помню! — и вот жизнь-то наша на уклон пошла; что ты в могилку капитан-наставником закопаешься, что я оставшим третьим помощником — все одно закопаемся, тогда зачем огород городить, зачем ночей не спать, перед начальством трепетать, за других людей отвечать, за грехи их и глупости? Честолюбие в тебе, Ива- ныч, всю жизнь сидит, а его разве накормишь, честолюбие-то? Оно как лев какой — ненасытное... Никак вояки подводные правыми бортами расходиться собрались? Будем подворачивать?

— Подверните решительно — градусов на пятнадцать, — сказал я. — Будем левыми расходиться.

Он пошел на рулевой автомат, отвернул на пятнадцать градусов. Американская лодка почти одновременно тоже отвернула, показав нам красный отличительный, который, правда, был виден очень пло- хо — лодка глубоко просаживалась в зыбь и шла в облаке брызг. Мы раз- минулись в полумиле.

— Вот жизнь-то прямо и подтверждает мою точку, — сказал Елпи- дифор от руля, возвращая судно на прежний курс. — Ведь я на Свири дом поставил, потому что в мирные эти разговоры — тью-тью! — не верю! Доиграются людишки до водородной бомбочки. Так вот, ежели такая на Питер шлепнется, так и на Карельском брызги полетят, а до Свири не дойдет. Тут мне друг военный точно радиус посчитал. Ездить, конечно, дальше, зимой особенно трудности, но все одно, если за машиной хоро- шо смотреть, так оно короче, чем до Сестрорецка, выйдет. А Ладога! А рыбалка! Эх, и чего вы мой дефицитный амортизатор выкинули, Петр Иванович! — вдруг вспомнил Елпидифор. — Расплющенная машина на свалке для желающих один доллар стоит, я же предварительно у рабо- таяг ихних узнавал, — ничего-то нам за амортизатор по закону не сделали бы! Все это страх ваш, Петр Иванович, а почему страх? Потому, что вам падать выше: из наставников-то — выше, чем со штабеля, ха-ха! Вот всю жизнь и трясетесь. И еще скажу, если послушаете. Надоел небось таким разговором?

— Нет-нет! Продолжай! — сказал я с некоторым даже страхом, опасаясь, что он замкнется и заткнется. Я как бы в театре сидел и слу-

шал совершенно по-о'генриевски неожиданную развязку тяготной пьесы.

— Тогда скажу. Законы знать надо, Иваныч. Вот вы огни здешних подлодок угадываете с первого мерцания, а законов, которые в жизни, и не ведаете. Меня на закон внимание обращать в Канаде хохлы научили, эмигранты хохлацкие. Мы там в аварию попали, и суд был над капитаном, а я свидетелем проходил. Ну вот, пока терлись с канадскими хохлами — они сочувствовали, помогали нашему делу, — так и многому научились. «Первое дело, — твердят, — хороший лоер!» Адвокат, значит. И вот мне как бы какая великая истина приоткрылась: ведь мир наш законами набит, законов этих написано со времен Адама — тысячи и тысячи законов. Рази их без специального образования знать возможно? И потому у каждого канадского хохла постоянный лоер есть и по всем вопросам жизни советует. Ни один хохол там никуда без лоера и нос не сунет! А мы как? Мы и в юридическую консультацию-то хода не знаем! А если уж знаем, так только после того, как тебя в суд поволокли! А ведь сколько в наших-то, в советских законах всякой различной пользы навалено! Сколько там чего раскопать можно, если с прицелом, со знанием! Ведь там выгод-то непочатый край! А вот когда я это вдруг понял, так тут мне как раз и супруга моя будущая подвернулась, она в швейный институт, текстильный то есть, готовилась, а я ее — в юридический! И с той поры у меня свой лоер есть, законный. Теперь гляди, Петр Иваныч, тебе до пенсионера еще пятнадцать лет на волнах качаться, а у меня на основании строгой законности заслуженный отдых начинается. И при том все это, что ты в блокаду столярным клеем себе желудок к кишкам приклеил, а Электрон Пескарев один раз по шее от старосты схлопотал, когда у Шульца головку сыра стибрил, но и этого факта, если законы знаешь, уже много для чего достаточно, так-то вот, товарищ наставник. Извините, надо мне гидрометеонаблюдения произвести. Дурацкая — скажу, не побоюсь, — затея эти наблюдения, нынче-то, в научно-технический век, бессмысленная совершенно вещь, но Пескарев положенное завсегда исполняет. Сейчас ветерок померю и все другое по правде заделаю, Пескарев липу в журнал писать не будет, как другие-то пишут...

Атлантический океан был черен и пустынен. Луна еще только собиралась всходить, и альтостратусы только еще начинали светлеть в небесной бездонности. Эти высокие облака состоят из ледяных игл и быстро пропитываются лунным светом. Это надменные облака. И тяжелые длинные волны надменно катились из тьмы ночного океана. Им было такое же дело до нашего теплохода, как Ориону до лампочки.

— Вы море любите? — спросил я Елпидифора несколько неожиданно для самого себя.

— Я жизнь люблю, — ответил он так, как будто давно хотел сказать мне это, но не находил предлога.

— О чем вы ночными вахтами думали, вот в океане, когда один в рубке сотни дней? Я вот о метеоритах думал, хотел, чтобы они где рядом грохнули — для разнообразия.

— Нет, я о таких глупостях не думал, — сказал Елпидифор. — Я этот рейс катер обдумывал. Катерок у меня еще есть, «Ласточка», поместительная посуда — персон на десять. Вот всякие проекты и строишь. Как его оборудовать, дизелек отремонтировать — то да се.

— За сколько купили?

— Мы люди бедные, нам катер покупать — пупок надорвать. Так достал. Друг есть из военных моряков, со списанного эсминца мне через бумажки разные оформил. Я, Петр Иванович, делишки почти всегда удачно, хотя, конечно, почти всегда, с вашей точки зрения, подловато устраивал, а подловатого-то и нет! Вот теперь бороду отпущу в аршин — с бородой-то солиднее опять стало ходить. Ну, борода поседет быстро — по морю-то по вашему, хи-хи, тосковать буду, она и поседет. С седой бородой мне на суше квазидурака ломать еще удобнее будет.

— Как? Как ты сказал, Пескарев? — переспросил я, как бы даже переставая ненавидеть собеседника под напором любопытства к степени его мерзости. — «Квазидурака»?

— Ага. Приставка «квази» на ученом римском языке означает «как бы», Петр Иванович. Ты вот меня четверть века за дурака почитал, а я «квази». Я, Петр Иванович, из Пескаревых, а Пескаревы не дураки, а, если хочешь по-современному, философы, потому что все, кто умеет жизнь любить — а мы умеем, умеем мы жизнь любить! — так те все философы, а ты хоть высокообразованный капитан-наставник, а не философ, потому как жить-то не любишь, службу любишь, положение карьерное, ответственность и власть, и море это дурацкое любишь, а не жизнь! Ты морю этому тридцать лет, как семьсот пуделей, служишь верой-правдой, и потому тебя жизнь, как пуделя, и обстригла, хотя ты и умный, ничего не скажу — умный ты человек, и плавать с тобой спокойно, но только любой ум подлец, а глупость-то моя продуктивнее. Как в народе говорят? Чем глупее, говорят, тем и яснее! Я вот сейчас в каюту пойду и буду про полезных для природы птичек читать, душу тешить, и забот у меня до завтрашней вахты и нет ни единой, а у тебя-то! У тебя забот этих! Беспоконья, опасений! Господи, пронеси и помилуй! Сколько в голове чепухи-то квазиумной держишь — радиотехники всякой, электроники, таможенных манифестов да пунктиков, отчетности, а все это до настоящей жизни и не относится! Ну, хорошие у тебя пароходы, ну, красивые, а разве какой птице веселей, если она в красивой клетке чирикает до шестидесяти лет? Молчишь, Петр Иванович?

— Жалость какая, что ракетные пистолеты «Вери» с вооружения торговых судов сняли, — сказал я. — Был бы здесь ракетный пистолетик, я тебе, Фаддеич, прямо в лоб ракетой бы запузырил.

— И не об этом ты сейчас думаешь! — воскликнул Пескарев с глупым убеждением. — Думаешь: и как я его, мудреца такого, раньше-то

не раскусил, характеристику на него соответствующую куда надо не послал, как это я протабанил? Поздно, Петр Иванович, мы теперь с тобой задами друг к другу повернули и — пошла дистанция увеличиваться! Да и по закону у меня все, по закончику! Чешите себе, — как это ихний полищай выразился? — чешите себе пониже спины битыми бутылками, а Пескарев жить без вас начинает!

— Ну, Пескарев, ну, почтеннейший, ну, уважил! — сказал я. — Только теперь помолчи, хватит, тошнит меня, прямо с души воротит.

— Совершенно справедливо на этот раз изволите из себя вылезать от злости, Петр Иванович, совершенно справедливо! А мне, извините, точку надо на карту положить — вахта кончается. Мы, Пескаревы, свое маленькое дело всегда до дна исполняем, со всей точностью — как денежки считаем, так и дельце маленькое, жалкое точно исполняем, чтоб и никакой наставник не прицепился! И тебе, Петр Иваныч, ко мне не прицепиться!

Он торжествовал, как торжествует премированный литератор, обладающий той счастливой степенью бездарности, когда после получения премии он уже никаких сомнений в своей талантливости не испытывает и сыпет эпопеями на полную катушку для пользы родины и человечества.

Я медленно спустился в шикарную каюту с двумя кроватями и полтораметровой «Аленушкой», раздумывая о том, что вот первый раз в жизни мне повезло и я встретил великого человека. Ибо только великий человек способен строго и непреклонно десятилетиями следовать в практике за своей философией, за собственными предсказаниями. Абсолютное большинство людей на словах и в мыслях умеют далеко и точно предсказывать, но поступают не так, как это их собственное точное предсказание требует, а по воле обстоятельств и сторонних мнений, а Пескарев всю жизнь за собой следил замечательно, и его философия всегда была в стальном единении с поведением, начиная с того момента, как он перекрестился из Электрона в Елпидифора с легкой руки Старца на зверобойной шхуне «Тюлень». И во мне даже скользнула какая-то радость и гордость по поводу открытия мною совершенно нового типа — «квазидурака». Радость и гордость, правда, немного омрачались тревогой, как у тех ученых, которые открыли реакцию синтеза и заглянули в водородную бомбу, — они ведь и обрадовались, и испугались.

В каюте я хлебнул глоточек бренди, запил холодным кофе и долго смотрел на Аленушку. После саморазоблачительной исповеди Елпидифора лютый тигр, лакающий рядом с Аленушкой из водоема воду, уже не уравнивал ее стерильности. И я воткнул с другой стороны Аленушки сексуальную красотку из журнала «Пари-матч». Красотка застегивала лямки парашюта на груди, пропустив их предварительно между ног и приподняв ими черную юбочку до дух захватывающего уровня.

Полюбовавшись на эту тройцу, я лег спать и, как сказал мне со-



сед-доктор, разбудивший меня на рассвете, всю ночь орал дурным голосом.

А что мне еще, черт возьми, оставалось делать?

Рассвет запаздывал. Стонные тучи тащили провисшие животы по темному горизонту. Кое-где они продавливали горизонт и соединялись с пепельным, равнодушным океаном. Кое-где расплзались в них грязно-розовые пятна восхода, как кровь на бинтах. Только в самом зените оставался клочок свободного от туч неба. Оно было бледно-зеленое, слабенькое, худосочное.

Чайки металась за окном каюты встревоженно и бестолково, без обычной планирующей плавности. На фоне слабенькой небесной зелени птицы казались черными. Вероятно, чайки тревожились опозданием рассвета.

Солнце все не находило щель, чтобы просунуть луч между брюхатыми тучами и равнодушным океаном. Однако вершины плавной зыби ловили каждый квант, зыбь напитывалась рассеянным светом медленного рассвета и уже начинала голубеть над тяжелой и темной хмарью. Потом тучи шевельнулись, подобрались, первый солнечный луч-разведчик промчался сквозь какую-то невидимую щель на горизонте и попал прямо на чайку. И все птицы, кружащие над судном, разом стали ослепительно белыми, они именно как бы вспыхнули белым, снежным огнем.

## СОДЕРЖАНИЕ

Небольшой комментарий к рассказам моего друга Ниточкина . . . . .	3
Петр Иванович Ниточкин к вопросу о психической несовместимости . . . . .	7
Петр Иванович Ниточкин к вопросу о квазидураках .	18

Виктор КОНЕЦКИЙ

ИЗ РАССКАЗОВ СТАРОГО ДРУГА

Редактор Д. К. Иванов

Технический редактор Т. Я. Ковынченкова

---

Сдано в набор 17.10.86. Подписано к печати 13.01.87. А 00308. Формат 70 × 108<sup>1/32</sup>. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Учетно-изд. л. 3,23. Усл. кр.-отг. 2,28. Тираж 80000. Изд. № 358. Зак. № 3903. Цена 20 коп.

---

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.



**ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!**

**«ОРЕЛЬ-101 СТЕРЕО»**

Стерефонический стационарный кассетный односкоростной магнитофон-приставка «Орель-101 стерео» с высоким качеством записывает развлекательные программы. Последующее воспроизведение осуществляется через любой высококлассный аппарат, имеющий стерефонический усилитель мощности. Может использоваться и автономно для прослушивания программ через стереотелефоны.

В магнитофоне применен оригинальный двухмоторный лентопротяжный механизм, имеющий электронно-логическое квазисенсорное управление режимами работы и автостоп, срабатывающий по окончании магнитной ленты. Имеется система шумопонижения, переключатель типов магнитных лент, трехдекадный счетчик расхода лент, световая индикация режимов работы и т. д.

Цена — 440 рублей

**ЦКРО «Радиотехника»**